Librarium

LOU SALOME

DIE EROTIK

ЛУ САЛОМЕ

ЭРОТИКА



Москва

УДК 159.922
ББК 88.37
С16

Перевод с немецкого Ларисы Гармаш

Саломе, Лу
С16 Эротика / Л. Саломе ; [пер. с нем. Л. Гармаш]. — М. : РИПОЛ классик, 2022. — 404 с. — (Librarium).

ISBN 978-5-386-14499-9

В сборник вошли психоаналитические статьи Лу Андреас-Саломе, в том числе известнейшая работа «Эротика», а также циклы воспоминаний о Ницше, Рильке и Фрейде.

УДК 159.922
ББК 88.37

ISBN 978-5-386-14499-9

ЧЕЛОВЕК В ИПОСТАСИ ЖЕНЩИНЫ

К вящему возмущению всей женской эмансипации, или тех, кто так или иначе себя к ней причисляет, невозможно не согласиться с тем, как глубоко в корне всей жизни уже проявляется женский элемент как более низко развитый, как недифференцированный, — и именно поэтому, как ни парадоксально, выполняет свою выдающуюся миссию.

Маленькая мужская клеточка появляется, несмотря на свои крохотные размеры (как раз вследствие своей мизерности обязанная помочь себе пробиться), с самого начала как клеточка с врожденным инстинктом прогресса, как неудовлетворенный, ставящий себе новые цели, выполняющий новую работу, короче, как развивающийся в напоре и преодолении препятствий элемент. Он похож на неостановимо убегающую вперед линию, о которой неизвестно, куда она еще попадет, в то время

как женская яйцеклетка замыкает вокруг себя кольцо, за пределы которого она не выступает. А зачем? Разве она не обладает в нем, в этом излучении себя самой, своей собственной прирожденной средой, как будто не сделав больше шагов, в определенной степени последних, из себя, в чужую среду, в пустоту, в тысячи вероятных возможностей бытия, она еще теснее связана со вседержащим бесконечным целым и оттого еще неразрывнее спаяна со своей исконной основой.

Но именно поэтому в основании женского начала лежит уже примитивно и элементарно обозначенная действительная гармония, надежная округлость, таящееся в себе великое временное совершенство и заполненность. В нем имеется самодостаточность и собственное великолепие, и глубинные устремления сущности этого начала несовместимы с беспокойством и неутомимостью того, что вечно нацелено вперед, к последним внешним границам, и все сильнее и острее подтягивает и дробит свои силы на ограниченно-специализированные занятия. В этом смысле женское начало относится к мужскому со снисходительным величием знатного аристократа древнего рода, невозмутимо наблюдающего из окон собственного замка с вотчинными владениями за неутомимым выскочкой, который стяжает намного большие успехи, добиваясь богатства и славы, но который

вновь и вновь видит, как ускользают от него идеалы последней красоты и совершенства, воплощенные в величественной позе аристократа, вроде того как линия горизонта, где, кажется, наконец сливаются небо и земля, все время отодвигается перед путешественником в неизмеримую даль, а он все шагает и шагает.

Это два способа жить, два способа привести жизнь к высочайшему развитию, которое без полового разделения должно было бы замереть на самых низких ступенях. Но бесполезно спорить о том, какой способ ценнее или требует больших усилий: тот ли, чьи силы специализируются на стремлении вперед, или другой, в котором они равномерно стянуты к собственному центру и обретают свою завершенность в самоограничении. Оба эти мира, сами чудесно усложняющиеся по мере развития, также нельзя рассматривать как две половинки одного целого, как это случается вследствие неверного понимания: например, в популярном изречении о женском начале как пассивно воспринимающем сосуде, а о мужском — как его активном творческом содержимом. Если подумать о том явлении, во время которого у людей соединяются мельчайшие мужские и женские тельца — о самом половом акте, — то расхожая фраза о производящем и воспринимающем становится особо прозрачной в своих превратно истолкованных исто-

ках. И женщину, и мужчину отличают, как знак предельной зрелости — в определенной степени как избыток, который по мере роста больше не помещается в «старых мехах», — клетки, из слияния которых возникает человеческий зародыш, несущий в себе как отцовское, так и материнское содержание.

Но не говоря уже о равноценности этого творческого содействия в сотворении новой жизни, плюсом женской работы является то обстоятельство, что у высших животных ребенок созревает в материнском организме, — материнское тело подобно матери-Земле, где укрыто зерно — ребенок, — чтобы, вскормленное ею, прорасти к жизни.

То чисто локальное обстоятельство, что во время зачатия мужское семя проникает в женщину, а она его воспринимает, способствует укоренившейся путанице, с одной стороны, места, где происходит зарождение ребенка, а с другой стороны, женско-мужских составных частей, зачинающих ребенка. На самом деле тело женщины — лишь место встречи обеих частей. В действительности яйцеклетка не только равноценна сперматозоиду по силе оплодотворения, но именно она развилась изначально из того образования зародышевых клеток, которое было когда-то целостным носителем примитивного, еще дополового, зачатия. В определенной степени она — основной элемент процесса

зачатия: в прежних примитивных созданиях его было достаточно для размножения за счет собственного омоложения и деления, пока позднее, на более сложном уровне развития, слияние воедино *различных* клеток не доказало свою необходимость, — и это усложнение всего процесса было привнесено мужскими половыми клетками.

Биологам известно, как трудно найти решающий критерий для отличия яйцеклетки от зародышевой: нелегко определить, имеем ли мы дело с зародышем и с размножающимся бесполым путем животным или с яичниками настоящей самки, чьи яйцеклетки обладают способностью спонтанного развития (см. д-р Карл Клаус, «Основы зоологии»).

Зрелая яйцеклетка, также и у позвоночных, перед началом процесса размножения именно без предварительного оплодотворения показывает такое обновление и иное распределение протоплазмы, при котором зародышевый пузырек растворяется в протоплазме. При «бесполом зачатии» этот процесс обновления может быть достаточным для образования нового организма. При «половом размножении» к омоложению яйцеклетки добавляется еще процесс конъюгации или копуляции различных протоплазменных частиц, причем способность яйцеклетки к развитию, вызванная омоложением, приобретает интенсивность, достаточную для создания нового организма. Слияние ядер

гамет (в неоплодотворенном яйце) должно рассматриваться как своего рода конъюгация или копуляция разных протоплазменных тел, как вид оплодотворения, которое демонстрирует еще более тесную взаимосвязь между половым и бесполым зачатием. Неоплодотворенное яйцо проходит первые стадии развития (мейоз) планомерно, сообщая яйцеклетке высокую степень омоложения. При омоложении клеток материал остается тем же, но происходит новое его распределение, что является решающим моментом в каждом образовании клетки. Я сжато пересказываю аргументы из знаменитых физиологических штудий Иоганна Ранке, лишь чтобы подчеркнуть, в каком сильном противоречии находятся физиологически обоснованные представления к вышеприведенной фразе о женском элементе как пассивном придатке творческого мужского. С равным или большим правом могла идти речь о мужской составляющей как нуждающейся в присоединении, так сказать, об «отдающейся», которая используется женским удовлетворяющимся себялюбием как желанная добавка в ее развитии. И тогда при образном переносе в сферу психики становилась бы с большим правом заметной тайна мужской психики в ее самоотверженной отдаче цели, к которой она присоединяется, а женской психики — в ее самососредоточенном поглощении этой настойчивости.

Но что еще лежит в основе этой настойчивой самоотдачи, как не высшая избирательная сила мужского начала по сравнению с женским? Все дальше продвигающаяся дифференциация и изменение первичного во все более разнообразных функциях есть вся история мужского элемента, столь несовпадающая с той насыщенностью творческого самоповторения, собирания всех сил в собственном самопроизведении, характерном для всего женского. В одном месте своих записей, где Вирхов говорит о том, какие живые клетки в состоянии выступать как материнские (матрицы) для новых клеток, он делает примечание, что все клетки с явно выраженным предназначением очень мало способны к размножению, и, напротив, «более индифферентные клетки» обладают выраженной способностью к появлению новых клеток.

Органическая недифференцированность женского начала является одновременно его творческой силой, и это возможно доказать как на физическом, так и на психическом уровне. Это тот элемент, который должен быть направлен на себя, чтобы другой — мужской — отсюда мог бы вмешиваться в дальнейшее развитие; это то, к чему другой, более дифференцированный элемент должен все время возвращаться, во что он должен погружаться, чтобы оставаться в живых.

Искаженное понимание женского начала в основном допускает одну и ту же ошибку, все равно, подчеркивает ли оно «придаточность» по отношению к мужчине или налегает преимущественно на чисто материнское в женщине. Встреча полов со всеми своими результатами — это встреча двух самостоятельных для себя миров, из которых один более склонен к самоинтеграции, консолидации себя, а другой — к специализации себя самого. Это делает обоих способными в силу такого различия, дополняя и опираясь друг на друга, зачать третий высокосложный мир. Притом мужчина, хотя он и более агрессивная, более предприимчивая часть, участвует во всем процессе лишь частично и одномоментно, единственным поступком, ибо он живет в прогрессирующем выделении сил, стремящихся врозь к многочисленным отдельным действиям и отдельным занятиям. И помимо всего прочего, его миссия заключается в том, что он осуществляет и развивает таким образом женское существо, которое, оставшись более единым с собой, покоится и таится в том, что однажды вобрало в себя, идентифицировало с собой. Женское начало завершает свою деятельность не в изолированных и специальных занятиях, направленных на внешнюю цель, — оно органически срастается с тем, что делает, оно завершается тем, что вряд ли можно назвать делом, коль его суть в том, что из своей единой живой

жизни оно снова излучает, испускает единую живую жизнь. Материнское начало бережет маленький двойной зародыш в себе и выпускает его лишь после того, как он становится не частью, не *делом*, неким произведением родительского бытия, а самостоятельным, совершенным человеческим бытием. Да, пока женщина платит жизни тем, что она ***есть***, а не тем, что она делает!

В этом различии полов кроется та разновекторность их отношения друг к другу, которая одновременно делает женщину зависимее и независимее от мужчины, чем он от нее. Поскольку, как мы признали, в отличие от мужчины, рвущегося вперед и разрывающегося в этом стремлении, в женщине действие и бытие совпадают, все ее отдельные поступки являются не чем иным, как большим непроизвольным актом самого бытия. Из-за этого женщина — человек, более психически настроенный на унисон со своим собственным физическим началом. Она живет в намного более непосредственном, углубленном и вовлеченном отношении к своему телу, и потому через нее яснее, чем через мужчину, проступает тот факт, что интеллектуальная жизнь — это цветение, преобразование и тончайшее преображение великого сексуально определяемого корня всего сущего в абсолютно совершенную форму. Женщина не склонна отделять цветение от корня. Именно поэтому пол

в женщине выступает не как изолированный отдельный инстинкт — он пронизывает и проникает ее насквозь, он идентичен с общим проявлением женщины, и потому ему не нужно протискиваться в сознание так локализованно и специализированно, как это происходит у мужчины. Так сталкиваются с кажущимся парадоксом, что женщина по своей половой предрасположенности менее «чувственный» пол в узком смысле этого слова. С точки зрения психологии, в этом глубоко не правы, когда ее в этой области пытаются мерить той же шкалой ценностей, что и мужчину.

В женщине должны произойти слишком глубокие изменения, чтобы научить ее, например, так свободно разобщать сексуальное удовлетворение и прочую свою человечность, как это часто бывает обычным у мужчины. Мужчина, способный к «сальному», мгновенному удовлетворению своей сексуальности, безо всякого вовлечения других чувств, без какого-либо стоящего сопереживания его прочим наклонностям, использует для этого или, если угодно, злоупотребляет высокой дифференцированностью своей физической конституции, дающую возможность изолировать действие так, что все остальное выступает как выключенное. Этот механический, почти автоматический характер удовлетворения придает процессу некое уродство. Впрочем, безобразность свойственна всем переходам и про-

межуточным фазам каждого развития как что-то непропорциональное, негармоническое.

Недифференцированная сущность женщины, не сломанное в ней еще тяготение к интимности, неотъемлемая устремленность к интенсивному взаимодействию всех склонностей одновременно, обеспечивает женскому эротизму глубинную красоту. Она иначе переживает эротику, ее физика и техника отражают это иначе, и поэтому ее надо иначе судить, если эта красота остается невредимой. Неслучайно, что женщина пробуждается только через опыт любви к половому влечению и что ей известно такое богатое изобилие возможностей переживания своей любви вне полового опыта. Парадоксально, но менее концентрированный, более рассеянный по всему существу эротизм объясняет большую свободу, которой наслаждается женщина по отношению ко всему, что лежит вне ее.

Далее, нам известно, наряду с уже рассмотренным внутренним физическим значением половых желез, и об их огромном значении для тонуса всего организма, который в здоровом состоянии превращает их в настоящие аккумуляторы нервной энергии. Да, больше нельзя исключать предположения, что, помимо своей общей ценности в качестве тоников, половые железы прямо влияют на мозг посредством периферической нервной системы. То, что выдает врачу, физиологу, заболевшая или выве-

денная из психического равновесия женщина изнутри своих исключительных состояний и благодаря им, в это могли бы внести определенную ясность и концентрированно высветить таинственные взаимосвязи здоровые представительницы пола, если бы среди них было бы столь же много поэтов и людей искусства, как среди мужчин.

Но как редко воспевали женщины себя, то ли непосредственно, то ли опосредованно через женское повествование о мужчине, или о мире, каким он им предстает. Имеющиеся попытки столь малочисленны, и в этом немногом опять-таки выпячено столько злободневного в защиту или опровержение мужских мнений и предначертаний, а значит, все это пребывает не на уровне искусства. Несмотря на то, что искусство мужчины на деле рассматривало женщину — даже в высоких шедеврах — то очень традиционно, то однобоко, с определенными известными у него предрассудками, нам придется и сегодня прислушиваться к произведениям его искусства, если мы хотим встретить самое глубокое и прелестное, самое простое и самое сильное, что живет в женщине. Разве не возмещают несколько лучших стихов в прозе Петера Альтенберга — пусть тоже однобоких и со слишком узкими взглядами — самые длинные женские исповеди и женские стихи? Разве не выставлено на нескольких страницах в них яснее в выгодном свете женское

совершенство, самое суверенное и неприкасаемое в женщине, разве не эмансипирует это женщин действительнее и не стоит само по себе больше, чем все, что можно собрать о них при помощи большинства голосов их премудрых доказательств и горячих споров?

Я не хочу останавливаться здесь на поэзии Альтенберга, ибо своей тончайшей, интимнейшей оригинальностью она обязана не столько мужчине в нем, сколько пикантности, для определения которой пришлось бы слишком отклониться. Тем не менее остается верным то, что мужчина-мастер как таковой чрезвычайно близок женщине и поэтому очень хорошо понимает ее и именно как раз через свое творческое предназначение. Так как последнее отбирает у него многое из остро акцентированного у практичного и действующего представителя мужского рода, оно заставляет его пребывать в более едином, органическом состоянии, в слиянии с тем, что он создает, как это бывает у женщины, и погружает его в определенном смысле в счастье духовной беременности, глубоко вжившейся в себя и вынашивающей творение из глубины всей своей жизни. Не случайно у представителей искусства часто подмечают женские черты, и они вынуждены глотать упреки в немужественности.

Ибо подобно женщинам они тоже не являются хозяевами своих способностей и настроений, более

чувствительны и подвержены влиянию того, что скрыто подгоняет их сущность за всеми мыслями и волевыми импульсами, подниматься, произрастать творениями из смутного ила их мечтаний: гениальный человек соприкасается в практике своего творчества с совершенно недифференцированным существом внутри себя и в такие часы становится подобным ему гораздо сильнее, чем самому себе в простые, бодрые, нетворческие часы. И хотя эта утрата типично мужской разорванности так тесно сближает художника и женщину, но лишь в художнике эта схожесть обнаруживает себя в действительной духовной производительной силе, подобно королевской короне, делающей все вещи своими подданными.

Напротив, в женщине основой ее существа, так напоминающей творца, остается все же ее способ жить, но не особая способность души создавать произведения об этой жизни. Исходя из единой точки, а именно из творчески еще живого, не разрушенного, синхронного взаимодействия всех наклонностей внутри себя, до и вне всякого разделения их, художник и женщина идут все же к различным целям.

В художнике, наверное, живет вся эта томная страсть к созиданию нового бытия внутри себя, но выражает себя в собственной форме и ясности в новую для себя вещь, которая была движущей потребностью всего процесса; с другой стороны,

в женщине изживают себя примитивно художественные наклонности, но снова и снова и все глубже втянуты они в происходящее, чья движущая сила оживляет их своим теплом, не открывая им своих собственных решений.

В женщине все, кажется, должно разряжаться в жизнь, ничего из нее: так, словно жизнь описывает в ней концентрические круги, как будто она не может из нее выйти без раны и повреждения, как кровь сквозь кожу тела. Во всех высочайших достижениях она никогда не вырывается наружу, оторвавшись и отделившись, подобно тому как рядом с художником можно поставить его произведение как его высшее и лучшее бытие, а он, напротив, в практическом человеческом существовании оказывается его прислужником, его инструментом.

Возможно, женщине по извечным законам удалось уподобиться дереву — не тому, чьи плоды по отдельности срывают, отделяют, упаковывают, отправляют кораблем и используют в разнообразных целях, а тому, которое просто хочет ***быть*** — в священном буйстве своего цветения, созревания, красоты, дающей тень, потому что это значит, что из него возникнут новые побеги, новые деревья. Покачивает иногда ветер его вершину, или падает с нее под собственной тяжестью здесь и там плод — он хочет быть всегда спелым, а часто благородным и сладким, подкрепление страннику, но он лишь

падалица, отброшенный без усилий, и, наверное, не хочет значить больше, чем она.

Другими словами, я считаю: как явление жизни, как совокупность жизни, женщина свою силу и свой сок тратит внутри собственного существа, и поэтому произведения ее духа нельзя сравнивать с творчеством мужчины, чьи лучшие творения возникают из того, что они все сконцентрированы в одну точку внимания, всю самую напряженную силу человека впитали в себя и истратили на себя.

Даже там, где женщина хотела бы таким образом проявиться в чем-то личном, это удалось бы ей только частично, причем в другой части она бы чувствовала себя в дисгармонии или в беспокойстве. Отсюда принципиальная духовная и практическая конкуренция с мужчиной, демонстрация равенства своего профессионального потенциала мужскому — настоящая адская работа, и внешнее тщеславие, пробуждающееся при этом, самое смертельное качество, которое женщина может в себе взрастить.

Ее естественное величие как раз в отсутствии этого тщеславия: в уверенности, что ей не требуется приведения подобных доказательств, чтобы чувствовать в себе как женщине высшее самоутверждение, что ей нужно только протягивать свои тенистые ветви, чтобы дать отдых уставшему, утоление — жаждущему, не заботясь о том, сколько ее плодов можно было бы сосчитать на рынке.

Если угодно, женщина в этом смысле — человек наслаждения, человек, которому присуще всякое жизнелюбие и самопостигающий поиск. Кого окружает мир женщины, тот начинает дышать им, как начинают вдыхать доброту весны, в которой нежатся. Но только мужчина обладает на деле той практической самоотверженностью, преследующей, вплоть до самопожертвования, одну цель, одно дело, одно занятие, которое его как человека в различных аспектах его сущности оставляет в убытке, однако позволяет за счет этого достичь высочайшего результата.

Находящийся в состоянии крайнего напряжения мужчина отказывается от гармоничной траты самого себя в таком взаимодействии всех сил, которое бы оставалось красивым, радостным и здоровым, если только он может достичь при сильной специализации своих сил манящей цели; дело, которое он высоко ценит, искажает его при определенных обстоятельствах, но именно тот факт, что он был в состоянии это сделать, делает его по-мужски великим. Такому выходу изнутри себя видна поэтому убегающая вдаль линия развития, и потому мужчине органически близка идея прогресса. Если захотеть образно представить оба пола в их существенных чертах, то это должны были бы быть Задыхающийся Бегун и Отдыхающая Купальщица.

Столь свойственная женщинам тенденция просто вести себя к более широкому и богатому самораскрытию, вместо того чтобы направить это собственное бытие на практическую отдачу отдельной цели, часто приводила их к обвинению в дилетантизме, непоследовательности и поверхностности. В действительности, женщине труднее придерживаться линии, которая просто ведет вперед, трудно не отклониться, не поддаться внезапному порыву, не получить удовольствия от разнообразия... Отсюда в женщине понимание вещей, которые пониманию как таковому не подлежат. Она способна «приютить» много противоречий, тогда как мужчина должен отвергнуть все, мешающее его представлению о ясности. Правда представляется мужчине наиболее убедительной, если к ней приходят путем логического заключения и если с ней будет согласно большинство нормально развитых мозгов. Убедительная правда для женщины — всегда только та, что оспаривается жизнью, та, по отношению к которой она может сказать «да» всей глубиной своего существа, даже несмотря на то, что в некоторых случаях одна только она и может сказать «да». Женщина хранит внутренний опыт того, что суть вещей в конце концов отнюдь не проста и логична, но многозначна и нелогична.

С такой правдой женщина находит особый отклик и непроизвольно мыслит индивидуально

и конкретно, даже если ее логически обучить. И ее абстрактные мысли легко олицетворяются не только потому, что она соотносит их с определенными лицами, но и с собой: с мыслями, которые должны стать ценными для нее, она должна уединиться, она должна быть в состоянии их пережить, должна заключить их и себя в теплый мир, пока они больше не будут действовать как звенья логической цепи, а полностью завершатся в себе — маленькие картины вечности вместо ограниченных логических заключений.

В завороженности логикой есть то, что движет существо мужчины — и самого выдающегося мыслителя — до тех пор, пока он не выходит за свою личную оболочку, и во всех случаях, когда он не удовлетворяется формалистическим распределением мыслей, он не может не вливать в мышление горячую струю от своей жизненной силы, кровь от своей крови. Но то, что в нем действует лишь отчасти и замаскированно, до некоторой степени им контролируется и принимается в расчет, в женщине является доминирующей силой, провозглашающей совершенно независимо как высшее и главнейшее утверждение, то, что является для мужчины лишь досадной уступкой — что не соприкасается с нашим чувством, не занимает надолго наше мышление.

В этой своей духовной особенности женщина, как и в остальной сущности, намного сильнее обу-

словлена и повязана своим физическим естеством, чем мужчина. На этот пункт в большинстве закрывают глаза, и как раз женщины представляют дело таким образом, как будто вообще только болезненные женские существа что-то замечают в изменившихся планах своего телесного организма. И все же то, что присуще даже самой здоровой, цветущей женщине как определяющий закон всей ее физической стороны бытия в отличие от мужчины — это то, что жизнь женщины следует скрытому такту, ритмическому подъему и спуску, которые вовлекают ее саму в распускающийся и снова смыкающийся круговорот, в котором гармонически уравновешивается ее бытие со всеми ее манифестациями себя вовне.

Это свойство женщины — одним фактом своей жизни распускать «круги по воде»: и телесно, и духовно двигаться не линейно-наступательно, а равномерно-радиально наполнять собой пространства.

Странно замалчивать этот жизненный ритм либо представлять его как что-то совершенно безразличное к сути, в то время как он как раз у полностью здорового, уверенного в своем теле человека будит мысли о празднике и собраниях по воскресеньям, о часах глубокого радостного отдохновения, которые вытесняют и заставляют пересматривать будни и во время которых нужны цветы на столе

и в душе: потому что в нем, этом ритме, еще раз психологически повторится то, что составляет внутреннюю сущность женщины в ее самых глубинных чертах.

Так, в силу мужской амнезии женщина становится для мужчины внешним символом его собственного забытого прошлого, и он нуждается в женщине, потому что она есть проекция того, чем он пока не является, чем он пожертвовал, чтобы стать мужчиной. И сама женственность — это то, что мужчина подавил в себе, позабыл и вывел наружу и как бы переложил на женщину. И потому она — то, к чему он иногда имеет доступ, никогда в долинах жизни, но всегда на верхушках гор... И тогда, когда мужчина потихоньку спускается с этих высот в обычную жизнь и видит женщину, тогда кажется ему, как будто он увидел внутренность своей души в форме молодого удивительного существа, в котором так и остается загадкой — становится ли оно на колени, чтобы быть ближе к земле или быть более открытой небесам. Она словно оживший библейский символ: «Все твое на этой земле, но сам ты принадлежишь Богу».

МЫСЛИ О ПРОБЛЕМАХ ЛЮБВИ

В рамках эмоциональных отношений человека с окружающим миром, со всеми его живыми существами и вещами все можно, на первый взгляд, расположить в определенном порядке, разделив на две большие группы: с одной стороны, все однородное, симпатичное, интимно-близкое, а с другой — все неоднородное, чужое, враждебное. Наш природный эгоизм непроизвольно чувствует себя либо побуждаемым разделить радость, так проникнуться сочувствием к сущности другого, как будто речь идет о собственном «я», либо, наоборот, что-то заставляет его замкнуться, съежиться, отвергая внешний мир, выступая агрессивно, угрожающе против него. Такой тип эгоизма в более узком значении слова есть своеволие, которое любит только себя и прислушивается только к себе, а все остальное подчиняет собственным целям; напротив, тип

так называемого самопожертвования есть натура самаритянина с ее идеалом всеобщего братства; этот идеал признает в каждом, даже самом отчужденном существе, стремление к великому единению со Вселенной. Оба эти свойства беспрестанно и неумолимо заостряются в ходе развития человечества, и от того, как решится конфликт между ними, будет зависеть характер культуры каждой отдельной эпохи. Они никогда не смогут окончательно примириться друг с другом. И если одна из этих двух противоположностей резко поднимется до уровня единственного повеления, то произойдет это только в том случае и будет лишь тогда оправданно, если другая в силу своей утрированности будет нуждаться в особенно резкой коррекции.

В реальной жизни трудно в каждом отдельном случае верно провести границы между слабостью и добром, между суровостью и силой духа, и то, как люди должны объединять в себе добро и силу, — предложений и мнений на этот счет существует множество, словно песка в море. Между тем это обстоятельство психологически интересно тем, что человек не может вступить ни в одно из этих состояний, не вредя себе, и что они оба, несмотря на их видимое противоречие, все же, в конце концов, могут находиться во взаимодействии.

Эгоист, который, по возможности, многое для себя требует, так же как и альтруист, который мно-

гое отдает другим, на своем языке творят одну и ту же молитву одному и тому же Богу, и в этой молитве любовь к самому себе нераздельно смешивается с отреченностью от самого себя в одно целое: «я хочу иметь все» и «я хочу быть всем» — они достигают своего апогея в сходстве самой интенсивности страстного желания. И что же?

Оба ничего не добиваются, ибо в этом и кроется суть противоречия. Эгоист должен превзойти свой эгоизм, точно так же, как альтруист должен постичь и принять эгоизм. Это наши стены, в которые мы упираемся и на которых рисуем свою картину мира.

Именно в абсолютном противоречии кроется новое, необыкновенно эффектное и плодотворное в них, поскольку оно вызывает такое состояние, что человек фактически уходит сам в себя и одновременно выходит из своей скорлупы обратно в целое жизни. Это касается и эротических отношений. Часто, и не без основания, замечают, что любовь — это вечная борьба, вечная враждебность полов, и даже если в отдельных случаях это звучит несколько преувеличенно, все же мало кто станет отрицать тот факт, что в любви встречаются две противоположности, два мира, между которыми нет мостов и не может быть никогда.

Неслучайно в природе действует закон, наказывающий близкородственное размножение неплодовитостью, дегенерацией, гибелью.

В любви каждого из нас охватывает влечение к чему-то иному, непохожему; это новое может быть предугаданным нами и страстно желанным, но никогда не осуществимым. Поэтому постоянно опасаются конца любовного опьянения, того момента, когда два человека слишком хорошо узнают друг друга и исчезнет это последнее притяжение новизны. Начало же любовного опьянения связано с чем-то неизведанным, волнующим, притягательным; это озарение особенно волнующее, глубоко наполняющее все ваше существо, приводящее в волнение душу. Верно, что полюбившийся объект оказывает на нас такое воздействие, пока он еще не до конца знаком. Но как только рассеивается любовный пыл, он тут же становится символом чужих возможностей и жизненных сил.

После того как влюбленные столь опасным образом открываются друг другу, они еще долгое время испытывают искреннюю симпатию. Но эта симпатия, увы, по своей окраске уже не имеет ничего общего с прошедшим чувством и характеризуется часто, несмотря на честную дружбу, тем, что полна мелких обид, мелкой досады, которую, как правило, пытаются скрыть.

В любви эгоизм распространяется не добросердечно и мягко, он во много раз заостряется как сильное оружие захвата. Но этим оружием не пытаются как-то захватить облюбованный предмет

для собственных целей, этим оружием он завоевывается лишь для того, чтобы оценить объект со всех сторон, переоценить его, вознести на трон, носить на руках. Эротическая любовь скрывает весь возросший эгоизм под доброжелательностью, возникшая страсть, беспечная к противоречиям, соединяет доброжелательность и эгоизм в едином чувстве.

Любящий человек чувствует себя сильным: он чувствует, будто завоевал весь мир в силу этого внутреннего союза собственного «я» с тем, что привлекало его как высшее проявление всех прекрасных возможностей и необычностей всего мира. Но это чувство — только оборотная психическая сторона того физиологического процесса, при котором человеку фактически удается возвыситься над самим собой, в котором он себя ощущает самым полным образом и добивается наибольшего успеха: в любовной страсти он соединяется с другим не для того, чтобы отречься от самого себя, а для того, чтобы еще раз превзойти самого себя, чтобы продолжиться в новом человеке.

Итак, эротические отношения — это промежуточная форма между отдельным существом, эгоистом, и социально чувствующим существом.

В действительности эротическое чувство само по себе является таким же своеобразным миром, как и все социально окрашенные чувства или чувства отдельного эгоистического человека; эротиче-

ское чувство проходит все ступени — от самых примитивных до сложнейших в своей собственной сфере.

Понятно, почему такое по сути противоречивое своеобразие, как своеобразие любовных ощущений, оценивается обыкновенно как зыбкое; почему это своеобразие лишь в незначительной степени считается эгоистичным и переоценивается скорее как альтруистское. Это второе противоречие, из которого оно совершенно очевидно и полностью состоит. Тут физические способы выражения смешиваются с духовными и, несмотря на противоречивость, все же уживаются. Мы привыкли отличать наши самые сильные физические потребности и инстинкты от наших духовных исканий, но мы также знаем и то, как тесно они связаны между собой и как непременно сопровождают друг друга; таким образом физические процессы не выступают с такой требовательностью, чтобы постоянно притягивать к себе наше внимание и чтобы через нас самих себя осознавать. Эротическое чувство наполняет нас как никакое другое, насыщая всю душу иллюзиями и идеализациями духовного рода, и толкает нас при этом жестоко, без малейших поблажек на жертву такого возбуждения — на тело. Мы не можем его больше игнорировать, мы не можем больше от него отворачиваться: при каждом откровенном взгляде на сущность эротики мы словно со-

действуем древнему изначальному спектаклю — процессу рождения психического в своем полном великолепии из огромной, всеохватывающей утробы-матери — физического.

Но здесь мы связываем понятия «физическое» и «духовное» как отдельные представления, точно так же, как невольно пытаемся это сделать и с понятиями «эгоистическое» и «альтруистическое», чтобы по возможности целостно понять феномен любви и выразить это единым представлением.

Отсюда странный дуализм во мнениях об эротическом, и отсюда — изображение эротического, исходящее из двух совершенно противоположных сторон.

Резкости этих контрастов способствует еще одно обстоятельство. Наша половая жизнь, точно так же как и все остальное, физически в нас локализована и отдельна от прочих функций. Половая жизнь воздействует централизованно и так же обширно, как деятельность головного мозга, но отличие ее в том, что при этом она выступает на передний план намного грубее и выразительнее.

Да, «темное» чувство этого феномена любви может само прийти к влюбленным, и, возможно, это явится одной из самых сильных причин того глубокого инстинктивного стыда, который будут испытывать юные непорочные люди по отношению к своей физической связи. Этот первоначаль-

ный стыд не всегда восходит только к недостаточному опыту, а возникает спонтанно: они считали и ощущали любовь как целостность всей их взволнованной сущности, и этот переход к специальному физическому процессу, к процессу, на который падает ударение, сбивает с толку: это походит на то, как ни парадоксально это звучит, как если бы между двоими присутствовал еще и третий. И это вызывает такое ощущение, будто они сблизились преждевременно, в безусловном расточительстве своей духовной общности.

Тем не менее это сближение пробуждает в человеке пьянящее, ликующее взаимодействие продуктивных сил его тела с наивысшим духовным подъемом. И хотя нашему сознанию наша же собственная телесность знакома довольно плохо, и еще меньше подлежит контролю тот мир, с которым мы должны вступить в соединение, став единой сущностью, неожиданно возникает такая остро ощущаемая иннервация между ними, что все желания вспыхивают в одночасье, разом и одновременно.

Справедливо утверждение: всякая любовь — счастье, даже несчастливая. Справедливость этого выражения можно признать полностью, без всякой сентиментальности, понимая это как счастье любви в самом себе, которая в присущем ей праздничном волнении будто бы зажигает сто тысяч ярких свечей в затаенных уголках нашего существования,

чей блеск яркими лучами озаряет нас изнутри. Потому люди с истинной душевной силой и глубиной знают о любви еще до того, как полюбили, — подобно Эмилии Бронте.

В эротическом опыте реальной жизни любовь и обладание другим человеком прибавляют к этому глубинному опыту особый вид счастья, как бы удвоенного, подобно эффекту эха. Удивление и радость от того, что вещи изнутри откликаются на наш возглас ликования.

Поэтому любой вид духовно-творческой деятельности в эротическом состоянии с особой силой подвержен влиянию, порою он повышается, воодушевляется, и это случается даже в тех сферах, которые практически очень далеко лежат от всего личного.

Обращенный в эту творческую глубину, наш дух, находясь в таком бессознательно-эротическом состоянии, обнаруживает силы, которые до этого были неведомы нам, наряду с утратой других сил, которые были известны ранее.

Это звучит странно, но есть тем не менее чудесные стороны бытия, которые воистину в полной мере связывают влюбленного с хваленой детской непосредственностью гениально творящих натур.

Эта детская непосредственность, в которую, в силу эротического омоложения, может впасть самый благоразумный и закоренелый педант, отлича-

ет строжайшим и неподкупнейшим образом подлинно эротическое от любого рода похоти, ибо та всегда остается изолированной, локальной в своем телесном возбуждении и не вызывает того исключительного состояния опьянения, которое охватывает человека целиком.

Определенные вещи стилизуются, ощущаются как бы вне реальности в своем собственном мире, и, может, потому, что они поэтически наполнены, и могут только в такой форме вообще восприниматься.

Художник выбирает только те вещи, которые его настраивают продуктивно, вплоть до гениальности, он может выбирать к тому же только определенные их стороны, а также только определенные отношения их сущности к самому себе, не обращая внимания на прочие качества.

Что касается объекта нашей любви, то не мы открываем его, как и не мы выбираем его для себя — мы выбираем в нем только то, что как раз необходимо нам, чтобы это открылось в нас самих. Поэтому любовь и творчество в корне своем тождественны.

Вот почему чувство эротического в нас, без всякого сомнения, должно быть по сути своей точно таким, как гениальное творчество, которое воспринимают чаще как периодичность, которое приходит и прерывается, и чью интенсивность или пол-

ноту счастья совершенно определенно измерить в отдельном случае нельзя, как нельзя предположить и его продолжительность. И все же, при любых обстоятельствах, сильное любовное чувство неспособно поверить до конца в крах своих же иллюзий.

В любви, как и в творчестве, лучше отказаться, чем вяло существовать. Лучше верить, что периодичность высшего счастья в любви, как и в творчестве, естественна. И все же колебания чувств переносятся с трудом, в особенности когда их фазы не всегда у двух людей совпадают.

Преходящий характер любой любовной страсти, как в творчестве, мог бы приводить к менее опасным кризисам, если бы к этому не добавлялись некоторые недоразумения.

Жизнь и любовь не совпадают и делают затем друг другу печальные уступки, чтобы вообще продолжать существовать: любви предоставляется несколько праздничных мгновений, но она неохотно соглашается снять после бала свои праздничные одежды и в самом скромном, повседневном платье ютиться в углу. Но этот печальный конец, который искушенный человек обычно с грустной уверенностью предвидит для всякого влюбленного, оттого и случается, что сначала блеск любви воспринимается как очень важный, но затем ее право на соб-

ственный и праздничный наряд и вечное возрождение праздника недооценивается.

Это, конечно, должно звучать печально, как проповедь все более глубокого одиночества для каждого, кто хочет выйти за его пределы. Между тем фактически только это возвращает любви ее право властвовать вместо того, чтобы отнять его после кратковременного первого опьянения и вместо того, чтобы смешать его с узкообусловленными выгодами жизни. Все же любовь действует как непрямой повод в том случае, если она используется любимым человеком в качестве огнива, а не в качестве самого огня, у которого он согревается. Однако за это остается ей ограниченная власть так долго, как она хочет этого, и так далеко, как только она может достичь во всех областях жизни. Дальше и дальше может она действовать подобно тому, как она поступает в физическом слиянии: охваченный ею, человек зарождает настоящую полноту жизни в контакте с другим человеком, в нем высвобождается творческая сила. Так дело всей жизни, вся внутренняя плодотворность и красота могут брать свое начало только из этого контакта, ибо именно это для каждого человека означает «все», — момент связи с недостижимой подлинностью вещей. Она — средство, при помощи которого с ним говорит сама жизнь, которая неожиданно становится чудесной, яркой, как будто она говорит на языке ан-

гела, милостью которого находит необходимые именно для него слова.

Любить означает знать о ком-то, чей «цвет мира» — способ видения вещей — вы должны принять так, чтобы эти вещи перестали быть чужими и ужасными, или холодными, или пустыми, словно, приближаясь к раю, вы приручили диких животных. Так в самых прекрасных песнях о любви живет соль самой эротики, тоскующей о возлюбленной так, как будто возлюбленная — не только она сама, а также весь мир, вся вселенная, как будто бы она еще листочек, дрожащий на ветке, как будто луч, сверкающий в воде, — преобразовательница всех вещей, одновременно способная преобразовываться во все вещи: так, дробясь и соединяясь, оживает образ предмета любви в сотнях тысяч отражений.

Наибольшая опасность кроется не в том безрассудном ослеплении любовной страсти, когда человек в другом хочет увидеть больше, чем есть на самом деле: опасней, если вместо этого он попытается, наоборот, представить свою собственную сущность «по образу и подобию» другого. Только тот, кто полностью остается самим собой, может рассчитывать на долгую любовь, потому что только во всей полноте своей жизни он может символизировать для другого *жизнь*, только он может восприниматься как ее сила. Ничего поэтому так не искажает

любви, как боязливая приспособляемость и притирка друг к другу и та целая система бесконечных взаимных уступок, которые хорошо выносят только люди, вынужденные держаться вместе лишь по практическим соображениям неличностной природы и должны эту необходимость по возможности рационально признать. Но чем больше и глубже два человека раскрыты, тем худшие последствия эта притирка имеет: один любимый человек «прививается» к другому, это позволяет одному паразитировать за счет другого, вместо того чтобы каждый глубоко пустил широкие корни в собственный богатый мир, чтобы сделать его миром и для другого. В этом причина такого своеобразного и все же отнюдь не редкого явления, когда после продолжительной и счастливой жизни смерть разделяет пару, и оставшаяся в живых «половина» неожиданно начинает расцветать по-новому. Иногда женщины, которые были для своих спутников слишком преданными, полностью сокращенными до «половины», узнают, став печалящимися вдовами, к своему собственному удивлению, чудесный поздний расцвет подавленной, почти уже позабытой собственной сущности.

На деле быть «половинами» всегда плохо для обеих сторон, и всегда бывает тесно в их «жилище», если они к тому же еще «притерлись» друг к другу: хотя они говорят теперь «мы» вместо

«я», но «мы» уже не имеет никакой ценности, когда захвачено «я». И это относится не только к духовно бедным личностям, но свойственно и для личностей с богатым внутренним миром, где один у другого наивно отнимает его содержание, присваивает и пытается жить сам, и для этого прячет внутрь свое собственное, до тех пор, пока они не разлучатся. Теперь они, может быть, были бы по-братски родными, если бы не любили друг друга — с воспоминаниями и страстными желаниями, — были бы, если бы только по ошибке, из привлекательной, плодотворной новизны, которой они были друг для друга, не стали бы смертельной банальностью друг для друга.

Люди говорят о любви с громким преувеличением. Зачем они преувеличивают? Они вынуждены это делать, потому что не могут объяснить это по-другому — а в объяснении они никогда не были сильны, — как же это все-таки происходит, что становятся все больше уверенными *в себе*, когда любят *другого*, и что двое только тогда становятся одним, если они остаются двумя.

Они потому так редко остаются «двумя», что единство, по большей части, означает искажение.

Отсюда постоянно растущее взаимное недовольство, столь сильно охватывающее любовную страсть. Опасаются стать ограниченными, опасаются отсутствия больших возможностей для раз-

вития и перемен и смотрят с растущим недоверием на «возможность вечной любви в дальнейшем».

В прежней их вере скрывалось много наивной нетребовательности относительно действительно оживляющего любовного чувства.

Современный человек уже лучше знает, что люди никогда друг другом не «владеют», что они получают или теряют друг друга в любой момент жизни, что любовь вообще существует только в их фактическом спонтанном воздействии. По этой причине сегодня трудней отделить легкомыслие или игру от подлинной любовной страсти, и все же они перемешаны не сильней, чем раньше. Но если раньше даже довольно незначительное и бедное в чувственном смысле, весьма малоплодотворное внутреннее отношение пытались представить божьей милостью, то теперь можно отказаться, при обстоятельствах, от относительно богатой и глубокой любовной связи спустя непродолжительный отрезок времени (как раньше от флирта), потому что приходит понимание того, что она все же не является абсолютно всем, что может дать любовь, и что лучше идти дальше порознь. Конечно, в таком понимании лежит определенная жестокость. Эта жестокость знает, что там, где любовь хочет быть большим, чем чувственное или мечтательное времяпрепровождение, она должна сотрудничать с той же самой великой задачей жизни, которой

принадлежат наши самые высокие цели и самые святые надежды, и что она из своей области, из самой себя должна завладеть отрезком жизни после другого. Самая совершенная любовь останется всегда такой, пока ей удается самым совершенным образом в большинстве моментов и областей сделать так, что человек переживает все посредством другого человека, — да, до тех пор, пока они в состоянии вместе быть «всем»: влюбленными, супругами, братом и сестрой, друзьями, родителями, товарищами, играющими детьми, строгими судьями, милосердными ангелами.

Если мы заглянем в мир простейших существ, то обнаружим, что амебы совокупляются и размножаются, попарно вжимаясь одна в другую, абсолютно сливаясь с другим существом. Нам кажется естественным, что люди в области физической уже не способны на столь полное слияние; наше тело удовлетворяется тем, что лишь частичка его самого должна пойти для оплодотворения, лишь она должна принять участие в этом полном слиянии и только в узкоограниченной функции.

Странным образом, но в том, что касается души, а не тела, нам хочется, чтобы это взаимопроникновение распространялось еще дальше — так, как это происходит у амеб. Душой мы хотим того же самого, что и телом: не растворения в другом человеке, а, наоборот, благодаря своему контакту, плодотвор-

ного становления, усиления, удвоения, вплоть до плодотворного роста. В таких же отношениях состоят художник и его творчество. Потому что автор, даже не соприкасаясь с предметом, пребывает с ним в «амебообразном соитии», поскольку этот предмет оплодотворил его фантазию.

За этой полной аналогией физических и духовных способов выражения любовного восприятия стоит то, что речь идет только о двух сторонах одного процесса. Как творческое возбуждение коренится в процессах фантазии, так эротическое возбуждение, подобно процессу творчества, нельзя вычленить из фантазии, являющейся его порождающим центром. Несправедливо относятся к эротическому процессу, если его ограничивают лишь грубым физическим действием, а все дальнейшее больше не хотят признавать. Но с не меньшей несправедливостью относятся к нему те, которые его лишь морализируют и эстетизируют, искажая при этом половую жизнь. Эротическое — это все то, что относится к изначальной силе притяжения, преодолевая при этом существующую разделенность и несходство между телесными и духовными проявлениями его сути, подчеркивая физический момент в духовном, и наоборот.

С этой суверенной областью — ведь эротическое являет свой собственный целый мир во всех его физических проявлениях — пребывают в раз-

нообразных конфликтах другие области человеческой жизни и различные мнения человека. Пример тому — как часто люди могут одновременно любить и презирать. Я при этом предвижу, в очень частых случаях, что наше «презрение» только привито и что именно любовь в действительности совпадает с нашей глубинной оценкой вещей.

Притягательность предмета остается источником сильного опьянения, но опьянение нашей целостной сущности существует лишь в пределах определенных моментов, в то время как в другие моменты наступает уныние, разочарование. Если эта симпатия возникает в очень чувствительных местах души, ей противостоят в нашей сознательной личностной направленности очень сильные пристрастия и оценки: таков исток борьбы между любовью и презрением, — и, странным образом, от каждого человека, без исключения, ожидается, что он преодолеет свою страсть, хотя никто, даже он сам, не может предугадать, какие боги в глубине глубин борются тут за его сердце и на какой стороне может быть самая тяжелая потеря, серьезное увечье.

Как своеобразный итог этих размышлений напрашивается вопрос: почему любимый предмет так часто настолько мало нам подходит, по сравнению с большинством симпатичных нам людей, и почему тем не менее для нас все сосредотачивает-

ся в нем одном? Почти в каждой любовной страсти живет это недоразумение, и, невольно спрашивая себя о причине выбора и тайне своей зависимости, мы, как правило, не в состоянии их объяснить.

Это происходит тогда, когда в основе любовной страсти лежит физическое впечатление, причем это впечатление говорит на совершенно «другом языке», так сказать, символизирует, обещает совершенно иное, нежели то, чем оказывается душа этого человека при более близком знакомстве. Это происходит так, как будто его походка, его вид, его улыбка, его интонация, короче, все, до самых мельчайших черточек существа, рассказало о совершенно другом человеке, чем он есть на самом деле.

Если речь идет о страсти легкого рода, то этот парадокс не сильно ее разрушает, ведь она, собственно, и любит только физического человека, и потому ей не присущ трагический конфликт, подобно конфликту между любовью и презрением. В своих физических впечатлениях такая страсть не ошибается и никогда не ошибется: в этом человеческие инстинкты не могут заблудиться. Но может случиться так, что то, что она видит и чувствует в этом отдельном индивидууме, явственно подчеркнуто только физически — может быть, возрастом, предками, особенностями семьи, может быть, идущее из детства, то есть то, чего он лишился со временем, что было отрезано приобретенными позд-

нее внутренними свойствами. Тело — более консервативная сила, и многое медленно в него «внедряется».

То, что мы любим, схоже со светом звезд, которые от нас так далеки, что их свет мы видим только после того, как они сами уже погасли. Мы любим потом нечто, что есть и чего одновременно нет, но даже потом мы любим не зря. Ибо даже потом этот еще видимый, уловимый луч угасающего света может зажечь огонь всей нашей сущности, который не смог бы так вспыхнуть ни от одной другой, самой богатой действительности. Эротически мы любим только то, что в самом широком смысле физически выражено, что, так сказать, стало физическими символами, обрело материальность. Это подчеркивает всю окольность пути от одной человеческой души к другой. Это означает, что мы уже действительно никогда не приблизимся друг к другу, и нечто подобное только изображаем физически. Между тем, по причине дарованного нам физического повода, сами в себе мы создаем блестящий портрет другого, и тем самым все наши силы высвобождаются и воодушевляются. В этом кроется и причина того, почему искалеченного или обезображенного человека можно продолжать безумно любить, поскольку он уже прежде подал нам не обезображено и не изувечено свою физическую символику.

Любовь — это как раз и полностью физическое, и самое глубоко духовное, спиритуалистическое, что в нас проявляется: она всецело удерживается в теле, но и в нем всецело является символом, подобием для любого человека и для всего, что прокрадывается через ворота чувств в нашу самую сокровенную часть души, чтобы ее разбудить.

Вечное отчуждение в вечном состоянии близости — древнейший, извечный признак любви. Это всегда ностальгия и нежность по недосягаемой звезде.

Только творческий человек знает, что счастье и мучение являются одним и тем же во всем самом интенсивном, самом творческом опыте нашей жизни. Но задолго до него чудак-человек, который любил, моля, простирал руки к звезде, не спрашивая, будет ли это радостью или страданием.

ЭРОТИКА

Введение

Где бы мы ни коснулись проблемы эротики, всегда остается ощущение некой однобокости. И больше всего это ощущается тогда, когда к ней пытаются прикоснуться средствами логики, то есть с внешней стороны.

Само по себе это означает долго и упорно оттягивать непосредственную живость впечатлений, пока находишься в безопасном согласии с общепринятыми установками большинства. Или, выражаясь иначе, представлять дело столь несубъективно и отчужденно по отношению к нам самим, чтобы вместо целостности, нераздробленности жизненного самопроявления получить дискретный, обрывочный результат, который, однако, благодаря этому может быть четко зафиксирован в слове, удобен в использовании на практике, но в своей тотальности обозрим лишь односторонне.

Однако теперь этот самый метод представления, по необходимости все овеществляющий и омертвляющий, нам предстоит сделать приемлемым для такого предмета, который по самому своему существу нам знаком лишь субъективно, только через индивидуальное переживание, через то, что мы привыкли называть «духовными» и «душевными» впечатлениями о вещах. Ради согласованности, которая при этом должна быть достигнута, мы должны и к другим подобным феноменам подойти опять же исключительно с позиций объяснения *данного* феномена, тогда как все другое, что могло бы быть высказано о них, может считаться не более чем характеризующим дополнением, которое, как бы оно ни пыталось соответствовать принципу логической согласуемости, тем не менее собственной формальной помощью может убеждать лишь более или менее субъективно.

Для проблемы эротики, однако, эта противоречивая половинчатость, двойственность особенно характерна в той мере, в которой сама эротика кажется совершенно неуловимо колеблющейся между телесным и духовным.

Однако не путем сглаживания и смешения различных методов мы справляемся с этим противоречием, а, напротив, только посредством его предельной актуализации, заострения, можно сказать, посредством того, что мы полностью получаем

в свои руки некий еще не расшифрованный материал в виде взаимопротиворечивых частей, так подтверждается и оправдывается простирающийся над ним объем нас самих — носителей и исследователей эротического одновременно, не поддающийся никакому логическому сокращению. Таким образом, мы обозреваем не только созерцаемый предмет, но и сам метод: это путь о двух сторонах, именно тот путь, на котором пред нами разворачивается сама жизнь и который лишь иллюзией нашего зрения сходится вдалеке в одну точку. Ведь чем дальше мы продвигаемся, тем глубже нас разводит в оба направления — предмета и метода, и линия горизонта взлетает все выше с каждым шагом по направлению к ней.

Однако на каком-то участке пути мы наталкиваемся на «вещь-в-себе». Это происходит там, где наш собственный материал рефлексии, минуя чувство и разум, вытягивается вон — в неконтролируемое. По ту сторону короткой пограничной полосы, которая еще доступна нашему наблюдению, выявляется для внутреннего наблюдателя измененный масштаб относительно «правды» и «действительности». Даже самое материально осязаемое и логически понятнейшее, измеренное им, становится не более чем санкционированной людьми конвенцией, указателем для практической «ориентировки на местности», испаряясь по мере

дальнейшего углубления в просто соответствующую символическую величину, чистый эйдос, как это произошло для нас с понятиями «духовный» и «душевный». И на обоих концах нашего пути, таким образом, поднимается на щит непреклонное требование: «Ты должен создать себе образ и подобие!» — чтобы и символ, реченный знаками и сравнениями, в которых остаются указанными все характеристики духа, мог быть признан основой человеческого познания. И в той черте горизонта, которая от шага к шагу все отодвигается от нас, продолжая «заглатывать» вдали «небо» и «землю», пусть мы найдем образ изначальной иллюзии, с которой мы пускаемся в путь за сущностью эротики и одновременно последнего символа, что ждет нас в конце нашего ученого путешествия.

Основание

Это совпадение априорной иллюзии и окончательного символа весьма далеко от того, чтобы недооценивать внешний, объективный характер вещей, но, скорее, заново подчеркивает независимость основы, базиса нашего предмета от всех традиционно относимых к нему дополнений. Только при условии постоянной оглядки на основание нам может быть обеспечено полностью непредубежденное

проникновение во все уголки «материальнейшего» — телесного в эротике, — такой подход учит чувству вещественного уважения по отношению к ним. Уважению в том его значении, для которого мы все еще не стали достаточно простыми и готовыми на жертвы — жертвы всеми нашими этическими, религиозными и прочими установками, чтобы сосредоточиться на чистом смысле физического *как такового.* Нужно увидеть телесность как ставшие для нас наглядными страницы немыслимо длительного опыта, на которых до сих пор еще можно прочесть и «военные шрамы», и «знаки побед». Как будто духовное прочно покоится на фундаменте древнего и мудрого становления, в котором движение жизни, словно цепенея, отлилось в явственные для глаза формы и очертания, дабы нашему интеллекту, этому последнему и самому младшему отпрыску мира *физического*, будто нежному мальчугану-баловнику с любопытными пальцами, было позволено лазить по «летописям телесности», как по коленям Урана.

Тема

Для проблемы эротики нужна призма как минимум с двойным преломлением. Во-первых, она, как особый феномен, вообще должна рассматриваться в контексте физических, психических и социаль-

ных отношений, а не сама по себе, как это часто бывает. Во-вторых же, все эти три вида отношений еще раз соотносятся друг с другом и сплетаются в узел единой проблемы. Укоренившись в подпочве бытия, она всегда растет из одинаково плодородной земли, и до какой бы высоты и мощи она не развилась, у нее все равно достанет сил раздвинуть пространство своей древесной кроной; и даже если земля будет полностью загромождена, тогда она своей темной, хтонической силой подпочвенных корней будет упорствовать под ней. Именно эта неистребимая витальность — ее главное достоинство: независимо от способностей достигать высокой самоценности или олицетворять высокие идеалы она тем не менее на этом не останавливается и ради служения жизни приспосабливается к любым условиям. Так мы обнаруживаем, что эротика укоренена в почти самостоятельно протекающие вегетативные процессы нашей телесности. Поэтому на любой стадии развития и в любой разновидности, даже на вершине сложнейших любовных экстазов, она неистребимо хранит что-то от своего изначального простого происхождения: что-то от той хорошей, здоровой веселости, которая в непосредственности своего удовлетворения ощущается как вечно новое, вечно юное переживание — праздник жизни в его древнейшем мистериальном смысле. Как каждый здоровый человек,

пробуждаясь поутру, или вкушая ежедневный хлеб, или совершая прогулку по свежему воздуху, ощущает радость вечно *неповторимого*, будто каждый день — это рождение заново, и как мы иногда верно определяем зарождающееся нервное расстройство по тому, что в эту повседневность и испокон веков вершащуюся круговерть бытия вдруг начинают проникать такие понятия, как «скука», «однотонность», «пресыщение», так и в любовной жизни, если только она не начинает чахнуть, всегда присутствует эта «неповторимость извечного», и ее как нечто само собой разумеющееся человек разделяет со всем, что дышит.

Однако эротике этого мало: высшее животное сопровождает свое сексуальное поведение мозговым аффектом, который приводит его нервную систему в экзальтированное состояние, — сексуальное сталкивается с чувственностью, наконец, с романтикой, вплоть до мельчайших нюансов и разветвлений на вершине предельной человеческой индивидуализированности. Однако все это прогрессирующее развитие любви с самого начала покоится на более чем шатком фундаменте: вместо вечного равновесия и «вечного сохранения» свою власть обретает тот закон всего живого, согласно которому сила возбуждения обратно пропорциональна количеству его повторений. Избирательность, даже прихотливость в выборе партнера, вре-

мени и обстоятельств страсти, словом, все, что всегда считалось доказательством подлинной страсти в ее отличии от простого инстинкта, оплачивается усталостью, степень которой определяется пылкостью пережитой страсти и сопровождается тягой к неповторимому, неослабевающему в своей новизне желанию, в итоге — стремлением к перемене. Можно сказать: естественная любовная жизнь во всех ее проявлениях, и особенно в наиболее индивидуализированных вариантах, построена на принципе неверности. Однако сила привычки, в той степени, в которой она вообще способна противодействовать данной тенденции, подпадает, со своей стороны, еще под действие вегетативно обусловленных потребностей нашего тела, которые по сути своей враждебны каким-либо переменам.

И все же, парадоксальным образом, эта вегетативно обусловленная тенденция оборачивается апофеозом духовнейшего в человеке: не следует считать ни слабостью, ни неполноценностью эротического тот факт, что оно стоит на стороне верности — скорее, это знак его присяги великому принципу Целостности, нерасщепленности и неразменности жизненного единства. Сложнейший механизм реагирования, который склоняет нас к переменам и избирательной реализации возбуждения, ничего не хочет знать о постоянстве и стабильности. Но там, где мы что-то соотносим с на-

шим сознанием и понимающим усилием, а не только с физическими и душевными желаниями, мы и переживаем эротичность не только в тающей силе насыщения от удовлетворения этих желаний, но, с другой стороны, во всевозрастающем интересе к пониманию единственности человеческой неповторимости. Только здесь полностью реализуется принцип, гласящий, что в любви тянет человека к человеку, как к Иному, другому уникальному «я», чтобы во взаимодействии с ним исполнить себя не как средство любви — для порождения новой жизни, а как самоцель. Здесь сокрыта такая степень духовной жизненности, в сравнении с которой сама тяга к перемене кажется недостатком внутренней подвижности, когда духовность нуждается в толчках извне, чтобы прийти в движение, это некое отсутствие внутренней гибкости, позволяющей ловить новизну в привычном и *сотворять* перемены, а не *искать* их.

При этом верность и постоянство приобретают совершенно иной подтекст: в этом превосходстве максимальной насыщенности и открытости жизни проявляются возможности новой организации чувственного опыта — мир постоянного становится вновь пригодным для эскалации желания, а не его рассеяния. Конечно, этими тремя стадиями — изначальная стабильность, тяга к переменам и новое постоянство — эротика исчерпывающе описа-

на быть не может, к этому следует добавить факт их взаимосвязи. Поэтому размещение по рангам в пределах этой шкалы кажется более чем затруднительным, и в итоге эротика предстает не как ясное ступенчатое сооружение, которое теоретически можно было бы выстроить, а как вновь и вновь замыкающаяся на себя живая, неделимая целостность. Поэтому ни в каком отдельно взятом случае мы не способны узнать наверняка, охватывает ли здесь эротика всю полноту своего содержания, поскольку оно ей самой не может быть до конца известно: как, скажем, рождение ребенка, соответствующее на самом деле полноте достижения любовной цели, архаическое мифосознание приписывает не действию сексуального процесса, а проделкам какого-то демона. Так что, поскольку только целостный охват сути может помочь разрешить проблему, то все предварительное изложение, как и физический момент в эротике, требует соответствующего дополнения другими важными моментами.

Сексуальный процесс

В мире одноклеточных, предельно недифференцированных живых существ акт совокупления происходит посредством такой в себе неделимой, закру-

гленной и простой целостности процесса, что она вполне может служить символом самой сущности секса. В конъюгации одноклеточных сливаются оба клеточных ядра, образуя новое существо, новое тотальное единство. При этом происходит отмирание лишь несущественных периферийных частей клетки — зачатие, рождение новой жизни, новый организм, смерть и бессмертие сливаются воедино. Однако с усилением дифференциации с особой остротой встает противоречие: то, что дает жизнь, одновременно обуславливает и смерть, — родители в мире высокодифференцированных существ никоим образом не продлевают себя в продукте зачатия, он не есть экспансия и возрождение их былого «я», а в мире живых существ, наоборот, рождение потомства нередко покупается ценой смерти родителей. И, соответственно, секс в отличие от первичного слияния перестает быть только символом самоусиления, но приобретает глубоко амбивалентную окраску, одновременно включая в себя и принцип самоотречения.

Любопытно, что примитивный вид связи у животных, предполагающий тотальное растворение друг в друге отдельных существ, так удивительно соответствует тому идеалу любовного счастья, который воображает себе человеческий дух в своих наиболее возвышенных эротических снах. Вероятно, поэтому над любовью постоянно витает легкое

чувство тоски и страха смерти, которые едва ли могут быть друг от друга четко отличены, витает нечто, подобное прадавнему сну, в котором собственное «я», любимый человек и ребенок могут быть едиными, где эти три сущности представляют собой лишь три разных имени для одного бессмертия. С другой стороны, здесь заложены предпосылки для нивелирования разящего контраста между грубейшим и просветленнейшим, что вообще глубинно свойственно эротике. Уже в царстве животных мы не без улыбки обнаруживаем, как некоторые меньшие наши братья соединяют удовлетворение сексуальных потребностей с чувственным гипнозом. В мире же людей, когда речь заходит о переходе от грубой чувственности до сверхчувственного, не всегда есть место ироническому отношению к вещам. Туманное представление об этом обуславливает и глубоко инстинктивный стыд, который могут испытывать совсем молодые и невинные люди по отношению к сексу: стыд не из-за неопытности и якобы высокоморальных принципов, а из-за того, что они в своем любовном натиске предполагали тотальность слияния своих «я»; переход же от этой позиции к частичному телесному соитию своей редукцией изначально чаемого максимума слияния расстраивает их почти так же, как стыд перед тайным присутствием третьего, чужого, а именно тела как отдельной части

человека, создается впечатление, будто еще незадолго до этого в бессвязных бормотаниях страстного желания они были чуть ли не ближе друг другу, целостнее и непосредственнее. Между тем сексуальное само стремится разрешить в себе контрасты и противоречия, из-за которых оно вначале находится в спутанном состоянии. Сексуальное тянется охватить все инстинкты, которые хоть както оказываются в сфере его влияния. Вначале, возможно, это был инстинкт физического поглощения, который, как наиболее родственный и ранний по своему происхождению, распространялся на все, но вскоре, как слишком специализированный, должен был быть оставлен. Если и сегодня еще любящие, свидетельствуя о своем чувстве, говорят, что хотели бы съесть друг друга, или когда самки пауков в период размножения действительно проделывают это с маленькими, достойными сожаления самцами, то такой вопиющий перегиб происходит не от любви к пожиранию, а по причинам прямо противоположным: половое влечение как нечто тотальное по своему действию обладает качеством иррадиировать свое возбуждение на все специальные органы. И это ему удается вполне легко. Коль мы все до одного вышли из одной и той же «детской комнаты» (назовем так пространство половых органов), то в конце концов каждый из нас мог бы поиграть в «половые клеточки», если

бы бес высокомерия не влек нас ко все большему разделению. Поэтому так мощно звенит в нас воспоминание о том, как сексуальное может всецело органически захватывать; мы забываем, как далеко зашли на пути специализации органов, и нас охватывает внезапная тоска о старом добром времени безраздельного органического взаимопоглощения.

На таком сентиментальном приступе ностальгии покоится неисчерпаемое волнение, охватывающее всю тотальность существа, которое вступает в половой акт. И чем более половой процесс, в ходе развития зажатый в угол, становится специальным актом, тем сильнее растет значение его общего влияния на остальные сферы, ибо в эротическом экстазе происходит не просто соединение, пусть даже совершенно особое, а взаимоперетекание двух существ. Прежде всего, мы сами становимся единой искрой, в которой вся особая жизнь двух душ и тел снова в совместно переживаемой тоске вспыхивает друг в друге, и это наконец-то происходит вместо того, чтобы, по привычке едва замечая факт присутствия другого, жить полностью аутично сосредоточенным в себе. К чем более сложным организмам мы будем подниматься в нашем рассмотрении, тем более празднично и восторженно будет встречаться ими событие соединения, заставляющее сердце стучать в набат, звук которого проникает в каждый отдаленнейший уголок нашего бытия, да-

бы ознаменовать великолепный праздник пола и слияния.

Вполне справедливо говорят: любовь делает счастливыми всегда, даже самых несчастных, если только это выражение принимают в должной степени не сентиментально, а именно не зацикливаясь на отношении партнера. Ибо хотя у нас и создается впечатление, что мы заполнены до краев именно им, но на самом деле все исходит именно от нашего собственного состояния, которое нас, как всех хмельных, делает не вполне способными что-нибудь глубоко понять. При этом предмет любви является для возбуждения всех чувств лишь поводом: точно так же, как мимолетный звук и запах извне может послужить толчком к замечательным изменениям в сумеречном мире наших сновидений. Любящие инстинктивно оценивают свою принадлежность друг другу исключительно по продуктивности духовно-телесного становления, что их настолько же концентрирует друг на друге, насколько и раскрепощает. Однако если вы будете слишком подозрительно относиться к восхвалениям другого, то не удивляйтесь грубому падению с облаков обожания, которое каждый опытный человек, покачивая головой, мог бы предсказать заранее; и при этом любовное сумасбродство, только что еще украшавшее золотыми блестками принцессу, безжалостно превратит ее в золушку. В блестящем платье она поза-

была, что только благодарность другого существа за собственное воодушевление накинула на нее этот чудный наряд. Да, благодарность за собственное воодушевление и еще, быть может, неосознанное чувство вины, часто присущее эротическому эгоизму как смутное раскаяние за всегдашнее празднование себя и только себя. И все же из этого клубка спутанных эротических мотивов ткется, точно золотая тень, прокравшаяся между любящими, тончайший идеальный образ, назначение которого — быть посредником от сердца к сердцу.

Эротический образ

Лишь удивление вызывает то, как несправедливо трактуют эротику именно в этом пункте. Прежде всего, это касается элемента участия духа в любовном порыве. Все, чего касается дух, достойно внимания. Но здесь, как говорят, он выдает столь явные симптомы опьянения, что не остается иного выхода, как рассматривать его сквозь призму романтического подхода или заподозрить в той или иной степени патологии. На протяжении всей истории человечества это было больным местом, про которое говорили, что здесь сознание, дескать, надевает шутовской колпак, который удерживает от серьезного отношения к собственному состоя-

нию. В общем, удовлетворяются тем, чтобы держать сексуальность под лупой в таком ракурсе, в каком она локализованно предстает в низших центрах мозга, а затем в довесок присоединяют к ней чувственный материал неэротического типа, который, хвала и слава Богу, постепенно все же может к ней присоединиться, как например, благосклонность, дружелюбие, добросердечие, ответственность и т.п. Впрочем, все это в хмельном буйстве запредельных перехлестов эротического не благоприятствует любви, а, наоборот, стоит ей поперек дороги.

Однако что-то слишком человеческое упускается в сексуальной жизни, если пренебрегают столь характерной для людей любовной одержимостью. В безумных излияниях влюбленных всех времен и народов мы получаем полный объем того, что человек, силой своего пылкого интеллекта сделал из секса, но получаем лишь в том случае, если не рассматриваем эти содержания ни романтически, ни с медицинским интересом. Эти содержания переводят на духовный язык то, что с древнейших времен пол стремился передать средствами телесной выразительности, как свой единственный смысл: *что он берет целое и отдает целое.*

Понятно, почему еще Шопенгауэру понадобилось так глубоко запустить руку в свой метафизический мешок, чтобы поставить любовную иллюзию как таковую вне закона (как в этом чувствуется пра-

ведный гнев всех обманувшихся в любви!): на поверку вместе со своей соблазнительной приманкой эта иллюзия оказалась лишь хитроумной мышеловкой для его «воли к жизни». Это прежде всего объясняется тем, что с того момента, как половая функция была введена на правах одной из многих в ряд локализованных процессов высокодифференцированного организма, жгучий напор всеохватывающего сексуального волнения должен был в определенной мере уходить в пустоту. Согласно распространенному мнению, любовная иллюзия может быть лишь предметом роскоши, который, как соблазнительный аксессуар, прилагается к голой прозе секса, дабы в своем чрезмерном приукрашивании быть обреченным на всегдашнее несоответствие действительности. И тем не менее нельзя сказать, что любовная иллюзия — исключительно орудие самообмана: в ней эротическое впервые пытается чисто духовными средствами пробить через телесное стеснение духовную дорогу до некогда утерянного рая. Потому мы переживаем иллюзию тем интенсивнее, чем глубже любовь в нас, а если к этому примешивается еще и вся сила нашего разума, то эта иллюзия — прошу прощения за каламбур — становится совершенно безумной.

Нередко во всем поведении любящих по отношению друг к другу отстраненному взгляду вполне очевидно, что тот род сновидения, в котором они

живут, осуществляется как бы по принципу согласия по умолчанию. Что поделаешь, определенные вещи — лучшие вещи — поддаются только стилизации, невозможно до конца пережить полноту их бытия, как будто великая поэтическая полнота, которую они хранят в себе, может быть воспринята только в определенной форме — форме, унаследовавшей свои очертания от благоговейной тоски по прекрасному, которой человек отдается в удивительном сочетании мало свойственной ему сдержанности и одновременно бесцеремонности. Посредством эротической иллюзии, которая устанавливает отношения взаимовлияния между влюбленными, осуществляется связь человека со всей остальной действительностью: Другой, всегда оставаясь вне нас, освящает своим присутствием внешний круг вещей; он становится той точкой единения, в которой мы впервые обручаемся с миром той реальности, которая никогда полностью не входила вовнутрь нас. Жизнь для нас становится красноречивой: она начинает звучать нотами и тактами, превращающими наши души в свой камертон. Так эротический образ любимого существа расширяется до бесконечности вселенной, с тем чтобы, в каком бы уголке мира не находились влюбленные, магия преображения коснулась волшебного края их прирученных вещей. Именно поэтому так оправданно боятся того, что слишком глубокое самопознание может по-

ложить конец любовному порыву, именно поэтому каждая настоящая любовь начинается с творческого толчка, приводящего в вибрацию чувство и дух. Поэтому при всей поглощенности Другим, нас охватывает лишь незначительное любопытство, каков же он все- таки сам по себе, безотносительно к нам. И даже если Другой превзошел все самые смелые ожидания, что, несомненно, должно было углубить и укрепить наш союз во всех смыслах, нам предстоит испытать глубокое разочарование, и все потому, что настанет время, когда игровое пространство перестанет существовать, а к Другому уже невозможно будет отнестись творчески — «сочиняя» его, «играючи» в него. Мы начинаем испытывать какое-то особое раздражение по поводу именно тех черточек, которые прежде для нас были особо волнующими: даже задним числом они не могут оставить нас равнодушными — либо восхищение, либо отторжение — и вследствие этого неравнодушия еще более раздражают, напоминая о том мире, которому наши нервы некогда отвечали дрожью, о мире, ставшим чужим.

Эротика и искусство

Больше всего мы узнаем о своеобразии побудительных причин эротического, когда сравниваем его с другими сильными всплесками фантазии, особен-

но с фантазией в искусстве. Конечно, здесь перед нами предстает глубокое, хотелось бы сказать, кровное, родство, которое объясняется тем, что произведение искусства рождается от взаимодействия освященных временем образцов с амбициозными устремлениями того, что было приобретено индивидуально: оба явления содержат таинственный синтез прошлого и настоящего, порыв к эросу и к творчеству и там и там рождается из этого тайного взаимодействия. В этих темных пограничных областях роль, которую в обоих случаях могла бы играть «зачаточная плазма», еще совсем не изучена; однако то, что инстинкт творить художественные формы и половой инстинкт порождают глубокие аналогии, что эстетическое восхищение незаметно переходит в эротическое, а эротическая тоска, в свою очередь, невольно тянется за эстетическим, за украшательством (тоска, которая на животном уровне, например у самцов пернатых, делала украшения непосредственно из тела), — все это может быть признаком глубокого «сестринства», развития из одного и того же корня. Создается впечатление, что мы имеем дело с тем же самым подъемом до высот наиболее индивидуализированного и с тем же самым возвращением в состояние рассеяния, в теплые глубины земли, — процесс, на котором вообще покоится все творческое и в результате которого нечто рукотворное может ро-

диться как живая целостность. И если уж сексуальное можно назвать пробуждением самого древнего, того, что скрыто в телесной памяти, то для творца так же верно то, что наследственная мудрость, увязавшись с современностью, должна стать в нем личным воспоминанием, своего рода зовом к пробуждению ото сна прошлого, зовом, исходящим от всеобъемлющего волнения данной минуты. Однако во взволнованности художника физическое возбуждение выполняет роль не более чем сопровождающего момента, причем сам результат выступает как продукт интегрирующей функции мозга; в сексуальном же, напротив, физические процессы допускают духовную экзальтацию лишь на правах сопутствующего факта, не заботясь ни о каком другом «деле», кроме физического осуществления ребенка.

На этом основании эротическое по сравнению с художественным выражает свой порыв в более бесплотных и куда как менее правдивых свидетельствах, чем творческие артефакты. В художнике, однако, при некоторых обстоятельствах его особое состояние может переживать различные надломы, то перехлестывая через норму до аномалии, то превращаясь в насилование настоящего, то разрываясь между требованиями прошлого и нынешнего. Само это состояние внутренней заряженности любовью, чуть ли не самое ценное из всех возможных,

находит как свое последнее прояснение, так и свое окончательное исполнение на той же духовной почве, сосредоточиваясь и воплощаясь более или менее без остатка в произведениях искусства, в то время как эротическое духовное состояние из-за отсутствия такого оправдывающего финала продолжает восприниматься в контексте обыденного течения жизни.

Художник, не будучи стесненным жизненными обстоятельствами, по сравнению с любящим может куда более свободно фантазировать, потому что на самом деле только он своими фантазиями способен создавать из наличного материала новую действительность, тогда как любящий лишь одаривает ее своими выдумками. Вместо того чтобы отдохнуть, наслаждаясь гармонией совершенного дела, как это позволительно фантазии художника, поэзия любви, вечно чего-то ища и вечно кого-то одаривая, неприкаянно проходит через жизнь, причем ее трагизм тем более велик, чем менее она способна освободить свою память от порабощающих воспоминаний о былых объектах ее вожделения. Любовь, таким образом, оказывается самым телесным, самым душевным и самым одухотворенным из всего, что в нас есть; она целиком и полностью держится за тело, но держится не просто так, а превращая тело в символ, в знаковое письмо для всего, что хотело бы через калитку чувств прокрасться в нашу душу,

дабы разбудить ее для самых дерзновенных сновидений. В результате этого повсюду к факту обладания примешивается представление о недосягаемости, братскими узами сплетаются согласие и отказ, которые в данном случае отличаются друг от друга не качеством, а степенью. Любовь делает нас творцами сверх наших способностей, ведь ее тоска направлена на объект не только в ипостаси его эротической желанности, но и в ипостаси его самого возвышенного, предельного, абсолютного бытия, о котором мы можем только мечтать.

В то время как в сфере искусства соучастие телесного волнения в творении оказывается лишь незначительным обертоном, назначение которого полностью отзвучать еще до появления конечного продукта, то в собственно эротической сфере отношения лейтмотива и аккомпанемента уже иные. Всегда присутствующий рядом духовный избыток начинает резонировать со вновь взятым основным тоном, и страстное желание, которое вначале едва ли могло быть вербально оформлено, сейчас обретает слово. Кажется, будто что-то очень простое, лишь благодаря тому, что оно было индивидуализировано до духовности, одновременно сохранив свои отличительные черты и более не позволяя использовать себя как вспомогательный инструмент или сопроводительное средство, отныне просто обязано продвигаться вперед в своей организую-

щей потенции, пусть даже речь идет о том, чтобы оживить своим дыханием самый призрачный и фантастический мир.

Идеализация

Здесь перед нами встает вопрос: какие обстоятельства связаны с этим стремлением идеализировать предмет обожания, которое, как кажется, слишком сильно напоминает творческий процесс. А не оказывается ли в итоге стремление к идеализации наиболее существенным моментом творческого осуществления, ведь оно происходит как синтез внутреннего и внешнего, дальнего и ближнего, синтез пространства мира и пространства души, первопричины и кульминационной точки?

Даже там, где речь идет не о столь исключительных явлениях, а о нашем повседневном существовании, все равно становится очевидным, что сам факт человеческого сознания покоится на том же основании — на необходимости равновесно соединить противоположности мира и себя, внутреннего и внешнего. Сам масштаб этого равновесного соединения указывает на те высоты, которые могут быть достигнуты человеком по сравнению с животным. С повышением уровня осознанности жизни происходит и усиление эротического процесса, захватыва-

ющего все более глубокие и отдаленные пласты, что в итоге приводит ко все большему сближению эротического и творческого. Это движение будет продолжаться до тех пор, пока решающее противостояние не окажется преодоленным, пока оно не будет снято в плодотворном единстве становления мира и рождения собственного «я», что, несомненно, даст созданному нами не бледный отсвет иллюзорного бытия, а аутентичную и полнокровную сущность.

Если подобное произойдет, нам будет дано увидеть развитие идеализирующей деятельности на полном ходу. Любящий, как и созидающий, узнаваемы по их наивному, зачастую не соответствующему реальности, восхищению. Чем более значительным представляется упомянутое противостояние эротического и творческого, тем более очевидным становится то, что достижение ими общего основания может произойти только на том условии, если в сфере эротического будет царить примат взаимного возвышения партнеров; только при таком условии можно уравновесить силу притяжения и силу отчуждения, собственно говоря, достаточно лишь обостренного ощущения жизни, чтобы этот процесс запустился автоматически. В результате достижения эротического синтеза у партнеров может создаться впечатление, будто их союз получил благословение на Святой земле, будто то, что мы называем идеализацией, в действительности есть

самый первый творческий акт только что сотворенных существ, который своей силой кладет начало всей последующей череде жизни. Именно поэтому феномен идеализации впервые проявляет себя уже в телесном инстинкте спаривания, а по крупному счету, его начало можно вообще приурочить к первым актам деятельности мозга. Будто его силой осуществляется восторженный порыв бытия, который подобен упоительным голосам птиц поутру, когда солнце уже приготовилось взойти над новым днем творения, ибо на Земле нет более тесно и глубоко переплетенных вещей, чем три фундаментальных человеческих порыва: творчество, религиозное поклонение и радость Эроса. Если на ощупь пробираться к самым темным глубинам происхождения человека, то, как на последние узнаваемые места, натыкаешься на религиозные проявления. Первое, с чем пробудившееся сознание, неожиданно противопоставленное миру, хочет соединиться, всегда так или иначе является Богом. Именно благодаря этому воссоединению происходит становление того единства, от которого потом отпочковываются различные побеги первобытной культуры. Становление сознательным само по себе является, по сравнению с недостаточно пробужденным, чисто животным самоопределением, подъемом жизни до таких высот, которые позволяют понять, как из беспомощности и груза неисчислимых трудностей, вопреки всему,

первым актом человеческого творения появляется представление о божественном. Это означает, что решающим оружием в жизненной борьбе уже не была исключительно материальная сила животных, а во много раз превосходящая ее сила фантазии. Не то чтобы мы недооценивали то, что нам фактически чуждо, отдавая несомненное предпочтение преображающим чудесам сознательной жизни, но бесспорно, что в данном пункте мощь человеческого воображения чувствует себя неизмеримо углубленней и неуязвимей по сравнению с голой материальностью видимого.

И потому, при всем напоре конкурентов, борьба за существование — уже не просто сиюминутный поиск жертвы, а одновременно понимание единства со всем, что существует рядом, попытка познать это единство в божественном, волшебно преображающем, — кровь, что пролита, мясо, что поедается: человек, получая силу своего врага, заключает что-то вроде союза, религиозного бракосочетания, он объявляет действительность всеобщей мистической сопричастности непреложно существующей. А через некоторое время, намеренно голодая и мучаясь жаждой, он празднует ужин своего духовного избавления, на сей раз объявляя реально существующей действительность своего незримого пока будущего.

Только потому, что эта внутренняя потребность возносить вещи на пьедестал, идеализировать их, изначально означала «вести себя творчески», мы

находим ее также и на пиках человеческой деятельности, которые соответствуют самым глубоким переживаниям. На этом основании наша пиковая способность творить имеет своеобразный характер: она скорее ощущается как акт зачатия чего-то иного, чем как конечное заострение нашего самодвижения; по этой же причине внешним достижениям всегда сопутствует желание отстраниться от их воплощенной ценности. Став полными властителями жизни благодаря акту творения, мы, как никогда, близко подходим к настроению религиозного посвящения и благоговения перед высшим — это не просто особые переживания, а последние аккорды творческой активности par excellence.

Создается впечатление, словно существует нечто, что, начиная с символических изображений прадавнего божества под тысячью разнообразнейших одежд и личин сохранилось во всем, было попутчиком всем временам и народам: это сама творческая сила, которая и является обратной стороной поклонения божеству, конечным символом всего сущего и одновременно тем, что дает ему начало.

Эротика и религия

Тот факт, что религия относится к явлениям, вокруг которых нагроможден ворох разнообразнейших определений, суть которых объясняется про-

тиворечивейшим образом, связан с тем, что она по своему основному аффекту входит в ряд наших интимнейших переживаний: она связана с такими реальностями внутренней жизни, которые вполне способны или свалить нас с ног или еще крепче утвердить в нашей позиции. И потому между нами и религиозным чувством необходима дистанция — для того чтобы занять позицию теоретической отстраненности.

Изначальный сплав эротического с религиозным, возникший на основе того же витального всплеска, который (благодаря плодотворному синтезу внутреннего и внешнего) привел к возникновению сознания, в итоге специализировался до собственно телесного и собственно духовного видов наслаждения. Исходная взаимосвязь эротического и религиозного была столь же синкретичной, как и связь между всеми другими человеческими проявлениями, нынче же распознать эротический оттенок в религиозном можно лишь по специфической окраске основания и пика мистического экстаза. Особенно очевидной становится связь мистики и эротики, если провести аналогию с тем, как пробивается творческое начало в акте чисто телесного зачатия, ведь то головокружение, которое испытывается при этом, придает всему процессу характер тотального, а не лишь сексуального экстаза, и возникает ощущение как бы неотложно удовлет-

воренной духовности. Если духу для высшего переживания сексуального чувства необходимо привлечь и мозговое возбуждение, то, с другой стороны, в религиозной страсти, как и в любой иной интенсивной психической деятельности, с необходимостью задействована вся тоническая сфера организма; между обоими чувствами — сексуальностью и религиозным экстазом — расстилается весь массив человеческого развития, однако между ними нет непреодолимой пропасти: все их многообразие начинается единством и заканчивается единством. Собственно говоря, и религиозный пыл не мог бы существовать, если бы в нем не было заложено предчувствие того, что самое высшее в наших чаяниях может прорасти из самого земного, что таится в нас. Поэтому религиозные культы древности связаны с сексуальной символикой в значительно большей степени, чем с какими-либо другими явлениями жизни; и даже в так называемых высших религиях эта связь — хотя бы в редуцированном виде — все равно продолжает сохраняться. Кроме того, религиозные и эротические чувства по большей части разворачиваются параллельно, что достаточно глубоко проясняет их сущность, особенно в том, что связано с их идеологией.

Поистине от возвышенного до смешного один шаг: с должным почтением присматриваясь к мен-

тальным построениям верующих, не без удивления обнаруживаешь, что в смысле трезвого рассмотрения действительности интеллектуальный мир, построенный на религиозном чувстве, по меньшей мере в одном аспекте проявляет роковое сходство с чрезмерными фантазиями влюбленного, а именно в методе, каким осуществляется там и там сотворение нового, а также в содержании этих фантазий. Различия же между ними заключаются в той ценности, которая приписывается предмету чувства: даже самая пылкая любовь не требует от постороннего взгляда, чтобы он глядел на дорогой ей предмет исключительно ее собственными ясновидяще-слепыми глазами, в то время как религиозная вера претендует на то, что ее святой образ несет всеобъемлющую правду, принять которую должен каждый. Причем последнее происходит отнюдь не из-за узколобой нетерпимости к другим культам, как часто можно услышать, а из внутренней необходимости в полном преображении посюстороннего, которая диктуется самим смыслом религиозного феномена. Имеет место и второе отличие: религиозный образ появляется благодаря еще более безудержной субъективности, которая в данном случае практически не встречает никаких препятствий со стороны реальности. Там, где любовное влечение все еще имеет своим побочным эффектом наслоение иллюзий на предмет действительности, или

там, где художественное творчество, несмотря на всю свободу в сотворении образов, все же обязано задать определенный масштаб условий для их возможной реализации, там верующий проецирует свои представления без необходимости «оправдывать» их ни в отношении происхождения, ни в отношении цели, — он совершенно беспрепятственно выводит их из своей единичной души и сверхъестественным образом распространяет на все небеса.

Однако здесь присутствует лишь кажущееся противоречие: чтобы так суверенно высказываться, религиозное, конечно же, должно изолировать свой интеллектуальный мир от всего прочего профанного мировосприятия, но этот суверенитет, по сути, есть лишь эффект той всеохватности и изначальности практического значения религиозного настроения для всего, что иначе просто не смогло бы существовать; тем самым религиозное соучаствует в жизни каждого, обосновывая ее в глубине и венчая ее на пике. Это кажущееся противоречие — между всеобщностью религиозного мировосприятия и его предельной субъективностью — показывает лишь, как мало жизни улавливается в теоретизировании по поводу религиозного чувства, как бывает порой искажен образ того, что своим прототипом имеет модель высшей жизни. В вере для этого существует глубокомысленная формула о том, что Бога можно познать только в непосред-

ственном переживании *себя самого*, найти в собственном сердце, и степень правдивости, которая может быть достигнута в богопознании, в данном случае наиболее высока.

Потому вечно ткущееся полотно иллюзий, как в религии, так и в эротике, не является подлежащей искоренению ошибкой, а есть, скорее, свидетельство, удостоверяющее истинную жизнь; однако во влюбленном физиологически обусловленный перехлест чувства выбрасывает в образах полноту духовного переживания — причудливые, странные, трогательные, туманно-возвышенные отражения реальности, в то время как благочестивый, желая достигнуть высшего духовного переживания, должен отречься от интеллектуальной требовательности, опуститься с ментальных высот, вернуться к менее духовному, и в результате он берется всегда за вечно прошедшее. Воистину, мощный гранитный мир, вышвырнутый внутренними силами безудержного жизненного брожения в мертвую статику! И потому это такое уютное убежище для тех, кто ищет «зонтик» и защиту от жизненных невзгод! Эта двойственность остается уделом любой религии: она — не всегда крылья и не всегда костыли.

Если бы любовь и религия воздерживались от применения рефлексии в ходе своего развития, то достигли бы лишь того, без чего совсем нельзя

обойтись, ибо ничего не происходит без того, чтобы не быть и внешним достижением, и внутренним символом одновременно. Однако формы этих символов несут тем больше информации о непередаваемом, чем меньше они на это претендуют: лучше всего им это удается там, где они не стремятся отразить спонтанные экстазы и непостижимую реальность, а, наоборот, вступив, по возможности, как можно в большую связанность друг с другом, поддерживая и обусловливая друг друга, почти что без заметного участия с нашей стороны они позволяют «проговориться» нашим подсознательным интуитивным образам и оказываются в состоянии сами себя утвердить, или, как мы это называем, адекватно представить трансцендентную действительность.

Отсюда можно вывести серьезный урок как для религиозной, так и для эротической жизни: в определенном пункте их путь должен повернуть назад, к самой жизни — от иллюзий к действительности. Живущему заказан иной путь, и, словно в подтверждение невозможности двигаться вперед на каком-то отрезке, он оказывается загроможден и безнадежно завален, ведь только жизнь может отразить жизнь. Для религиозного этот поворот назад — безграничное проникновение во все, что существует, ибо сущее не может стать троном и скамейкой для ног верующего, как не явля-

ется ими Вселенная для Бога! В случае же любви поворот назад, к жизни, означает ее реализацию в социальном.

Эротическое и социальное

То, что эротическое занимает промежуточное положение между эгоистическим и альтруистическим порывами, вполне очевидно: ему знакомо сужение, стягивание нашей индивидуальной воли до безразличия, до отчуждения и враждебности, так же как и расширение ее до включения изначально противостоящего нам Другого в качестве неотъемлемой части нас самих. Оба полярных чувства с течением времени постоянно меняют соотнесенность друг с другом в смысле тех оценок, которые выносятся им людьми, и то, каким образом будет разрешено их противостояние, обуславливается характером эпохи. Каждое из этих чувств всегда нуждается в другом, и значительный перекос в одну сторону мог бы оказаться довольно опасным, ибо, чтобы себя отдавать, нужно вначале владеть собой, а чтобы владеть собой, нужно уметь взять у вещей и у человека то, что не берется грабежом, а приобретается в силу открытости души как подарок. Эти две противоположности лишь на поверхности несводимо разрастаются в разные стороны, в корне же — глу-

бочайше взаимоустремлены и нацелены на то, чтобы принадлежать друг другу: саморасточающее «я хочу быть всем!» и ненасытно-хищное «я хочу иметь все!», доведенные до высот всеобъемлющего желания, передают один и тот же смысл.

Похоже, как будто из этого материнского корня произрастает и третья, эротическая, группа чувственных отношений. Как по отношению к людям, так и по отношению к животным вполне справедлив избитый афоризм, согласно которому любовь полов есть вражда полов, и ничто так легко не переходит друг в друга как любовь и ненависть. Ведь когда изначальное себялюбие дрейфует в сферу сексуального, происходит его обострение до пароксических приступов эгоистических желаний, которые парадоксальным образом стремятся все завоеванное и присвоенное посадить на трон — даже выше себя самого.

Однако на основании такой взаимосвязанности любви и ненависти, эгоизма и альтруизма было бы ошибкой заключить, что эротика, по сути, представляет собой лишь первую ступень для таких более утонченных стадий развития, как духовный эгоизм самоутверждения человека или даже духовное братство всех со всеми. Напротив, она внутри своих пределов дает возможность развернуться всем стадиям, от примитивнейших до сложнейших, от телесно-ограниченных до духовно-осво-

божденных, — все они разыгрываются на ее почве. Однако в тех случаях, когда перипетии жизни привносят в эротику отношения, произрастающие на других основаниях — на почве дружбы или сострадания, — это не облагораживает ее, а, наоборот, подвергает опасности тем более серьезной, чем глубже по своему источнику инстинктивные силы, подпитывающие эротическую тягу человека. Будучи сама по себе полна творческими элементами как эгоистического, так и альтруистического типа, она самостоятельно себя расточает в обоих этих направлениях. И как прежде она с умышленной односторонностью рассматривалась лишь в аспекте ее собственнического порыва радости, сплачивающего все силы «я» на достижение желаемого, что в итоге приводило к апофеозу голой правды лишенного иллюзий эгоизма, то сейчас с таким же успехом можно рассматривать ее в аспекте альтруистическо-продуктивном: можно увидеть в личности Другого, до сих пор являвшегося только поводом для собственной чрезмерной страстности, настоящее событие жизни, которое, порождая благодарные иллюзии, утверждает иную, незнакомую правду. Прежде всего, кажется, что и «эгоизм вдвоем», который, как справедливо подозревают, является не меньшим эгоизмом, преодолевается только путем установления отношений с ребенком, то есть только в той точке, в которой социальная и поло-

вая стороны любви, примирившись, дополняют друг друга. Однако половая любовь, осуществляющая свое назначение сугубо в телесном смысле, имеет характерную черту, заключающуюся в том, что это физическое действо уже имплицитно содержит в себе все, чему на духовном уровне еще предстоит развиться. Хотя по праву можно сказать, что любовь создает двоих людей — того, кто рождается от физического соединения, и идеального Андрогина, рожденного от духовного соития, — тем не менее именно ребенок является тем, кто впервые выводит пару из состояния любовного оцепенения. По крайней мере настолько, насколько осуществляется социализация более примитивного причинно-следственного отношения «течка — приплод» до сознательной мотивации «любовь — ребенок».

Материнство

Интересно, что в женщине, которая вообще более склонна к повышенной идеализации любовной жизни, наблюдается и повышенное стремление к социализации. В материнской любви, превозносимой, с одной стороны, за самоотверженность и несколько порицаемой за неразборчивость — с другой, обе склонности находятся в тесной взаи-

мосвязи. С одной стороны, материнская любовь не позволяет никакой действительности мешать себе любить: никакая правда не может убедить ее в том, что это маленькое существо является не действенной причиной идеализаций, а всего лишь их поводом. И, однако, все это имеет место потому, что материнская любовь сама по себе не что иное, как особо растянутый акт зачатия, будто продолжающий осуществлять все те возможности и все то тепло, которое некогда было обещано еще не развившемуся семени. По воле матери идеализация и творчество тесно соединены братскими узами в соответствии с их древнейшим и высшим смыслом; по ее воле все поступки и молитвы, посредством нежных любовных имен, которыми она ласкает свое дитя, изо дня в день все глубже зазывают его в жизнь.

На этом основании она, в противоположность мужчине, из своей экзальтации выносит что-то еще, кроме интеллектуального фейерверка, порожденного незанятым избытком сексуальной энергии. Когда она в своем ребенке — по ту сторону всех присущих любви беззаботных прославлений — видит, по сути, только одну изумительную действительность его маленькой жизни, то становится очевидным, что за лучезарной накидкой иллюзий, делающих ее мужчину единственным и неповторимым, проступает все тот же образ вечного

ребенка, драгоценного самим фактом своего существования. За всеми идеальными картинами, которые она, кажется, так требовательно-смиренно шлет ему навстречу, скрывается такое огромное количество тепла, причастившись к которому прекращается индивидуальное одиночество отделенного существа, будто оно снова возвращается в объятия всематеринской стихии, охватывавшей его до фактического рождения. Этим она как бы на некоторое мгновение возвращает ему ощущение мирового центра — той исключительности, которая, будучи свойственной любому в силу прирожденного нашего эгоцентризма, именно поэтому не может быть гарантирована каждому в отдельности. Но, невзирая на такое положение вещей, в каждом существе этот посыл безусловного тепла продолжает жить дальше как чувство, что даже самому низменному из них по праву принадлежит самая возвышенная любовь «от всего сердца и изо всех сил». Таким образом, мать воздает своему ребенку, наряду с социальной, еще и эту высочайшую справедливость презумпции любви, притом никого не обделяя, ведь для ее ребенка это вся небесная ширь, а для других — не более чем еще немного голубизны над землей. Не только никого не обделяя, но и показывая всем, как достигается статус человека как такового, когда из немного смешного в своей наивности образа, порожденного эротической

страстью, силой ее мудрости получается глубочайший символ истинного человека. По сравнению с этим все иллюзии, которые способна породить человеческая фантазия, кажутся не более чем игривыми фонтанчиками, время от времени брызжущими над поверхностью мощного потока, в светлых водах которого размываются даже границы любви мужчины и женщины. Мать настойчива только в том, чтобы некой крохотной частичкой себя заселить абсолютно все, начиная с того, что соседствует с ее сердцем, и заканчивая самым последним зверем в поле, — ее чувство расширяется до целой вселенной, и благодаря этому она начинает говорить с нами по-новому, голосом любви.

Характерно, что в феномене родительства — отцовства и материнства — повторяется всегдашняя трагедия, трагедия парадокса: чем более существа высокоорганизованны и дифференцированны, тем с большей необходимостью они должны размножаться, преодолевая свою разделенность: в телесном акте любви и вынашивании ребенка их слияние торжествует над предшествующей разделенностью, но лишь затем, чтобы с рождением этого ребенка еще приумножить череду дифференцировавшихся и отколовшихся друг от друга. Так осуществляется дальнейшее дробление и измельчание Андрогина.

Мать столь полно отдается порожденной ею жизни не для того, чтобы физически продолжить

свое существование в ребенке, и даже не для того, чтобы запечатлеть в нем свой портрет, а для того, чтобы достигнуть той окончательной, тончайшей самоотрешенности, которая, обогащая и возвеличивая ребенка, превращает его в такую целостность, для которой больше немыслима никакая «спаянность» с личностью матери, и — еще раз таким образом выказывая фундаментальную расщепленность высокоорганизованных существ — устанавливает между ними связь совершенно иного типа.

Материнство предельно осуществляется только в этом сознательном удалении от себя своего как чужого, в этой болезненной добровольности отказа, в этом высочайшем самозабвении, отстраненности от того, чему, едва произведя как свой плод, она дала свеситься с ветки и осенней порой упасть на землю. Однако для женщины, познавшей материнство, осень превращается в начало бесчисленных весен. Ребенок, соединяясь по-новому с жизнью и теплом того, кто его не только любил, но и, породив из себя, затем отнял от своего сердца и отпустил в состояние полной независимости, — такой ребенок предоставляет матери возможность пережить его как особый неповторимый мир-в-себе, когда-то странным образом бывший ее частицей. Поэтому среди всех человеческих отношений только материнство является тем, чему позволено осу-

ществить переход от глубочайшего праисточника до высочайшего пика человечности, — оно вмещает все: опыт трансформации собственной плоти и крови в чужое духовное «я», которое вновь становится началом мира.

Женщина

И все же материнство — не единственный путь, по которому может следовать женщина в своем развитии от чисто эротического до общечеловеческого. Другой путь — тот, на котором таким же сверхэротическим образом празднуется высочайший символ любви, явленный в образе Мадонны. Если само зачатие ребенка посредством Бога, как это, согласно мифу, произошло в сакральные времена, позднее могло быть списано на махинации священнической касты, тем не менее нет оснований отрицать, что этот образ возник из потребности санкционировать сексуальное посредством религиозного, что особенно касается оргиастических культов. Прежде всего, первоначальное восприятие Мадонны оказывается приближенным к восприятию сегодняшних женщин свободного поведения: самоотдача без выбора, непреднамеренно и без обдумывания, в конце концов, означает самоотдачу исключительно из эротических побуждений. Жен-

щины свободного поведения и женщины типа Мадонны, схожие не более, чем намалеванная неумелым художником рожица и божественный праобраз, соприкасаются в крайнем. Это то, благодаря чему женщина вообще является женщиной: ее чрево как носитель плода, как храм божий, как место потехи и как снимаемое помещение для полового акта, становится нарицательным понятием, символом той пассивности, которая делает ее в равной степени способной свести сексуальное до самого низменного и возвысить его до небесных пределов.

Чем глубже женщина укоренена в любви, чем более личностно она переживает ее, тем легче она отстраняется в сексуальном от несущего чистое наслаждение и тем в большей степени оно приобретает для нее качество духовного поступка, живого исполнения и служения Эросу. В этом пределе чувственность и целомудрие, страсть и святость, в конечном счете земная мать и Мадонна, сливаются воедино: в каждом высшем часе женщины мужчина — не более чем плотник Иосиф рядом с Марией, которой дано чудо общения с Богом.

Женщина, какую бы ипостась она ни принимала, в любви значительно более целостна, чем мужчина. То, что женщины любой ценой и любыми средствами хотели бы еще более дифференцировать свою духовно-эротическую жизнь и одновре-

менно оставаться при этом преисполненными любовью, как Мадонны, так и Матери, — не совсем верно. Однако вполне позволительно было бы представить себе вид нового, более утонченного стыда, который, в противоположность старому, прививаемому традиционным воспитанием, не был бы столь щепетилен по отношению к телесности, а, скорее, наоборот, воспитывал бы в себе ту неприемлемость жеманной безвкусицы, которая позволяет отдаваться без всяких ужимок чистой радости физиологической потребности, что, в свою очередь, должно было бы распахнуть ворота в сферу душевных процессов, ворота в сферу внутреннего «я».

Если у женщин в эротический аффект прорывается так много психического, то здесь действуют те же самые причины, которые в случае с душевнобольными приводят к целиком противоположной картине. В своей работе «Сексуальные вопросы» Форель обращает внимание на тот факт, что сексуальность у мужчин возбуждает нижние центры головного мозга, а у женщин, очевидно, те места в коре, где обыкновенно локализуются и причины психических нарушений. Когда идешь через мужское отделение психической лечебницы, то поражаешься застенчивому безразличию и сексуальной индифферентности почти всех больных мужчин, говорит он, что же касается женщин, то даже самые

скромные и сексуально прохладные из них, душевно заболевая, могут впадать в дикий эротизм и временами вести себя как настоящие проститутки. Таким образом, один лишь факт того, что душевное расстройство способно превращать женщину в публичную девку, может быть подтверждением той исключительной роли, которую — уже на уровне закономерностей высшей нервной деятельности — в ее жизни играет любовь.

У женщины все развитие проходит по зигзагообразной линии, колеблясь между половой и индивидуальной жизнью: будь то когда женщины и матери чувствуют отсутствие интереса к своим индивидуальным способностям, или когда вынуждены развивать их за счет женского или материнского начала. Хотя существует множество рецептов, которые рекомендуются для устранения этого дисбаланса, однако в принципе нет и не может быть единого общепринятого решения этого конфликта. Однако, вместо того чтобы горевать по поводу трагичности, присущей женскому существованию, уместнее было бы радоваться той бесконечной полноте жизни, в которую в связи с этим вовлечена женщина: не имея возможности пройти свое развитие «по прямой», она вынуждена улаживать противоречия своего положения благодаря уходу «вглубь». И это не менее значимо, чем то, от чего мужчина отбивается снаружи в своей борьбе с бы-

тием: если еще и сейчас считается, что мужчина может быть по достоинству оценен только в связи со своими внешними достижениями, то для женщины все заключается в том, как она разрешит загадку своего собственного существования, — собственно говоря, это и является причиной того, почему грация в значительной степени остается единственным адекватным мерилом по отношению к ней. Предельное преимущество женского пола заключается в том, что он способен преобразовать «этическое» и «прекрасное» так, что они приобретут значение «святого» и «высокоэротичного».

Мужское и женское

Что-то педантичное, вечно взыскующее порядка в мужчине, порой приходит в негодование от всей женской породы, ее манеры любить, которая попеременно то смущает его, то импонирует ему, то вызывает презрение. Это связано с тем, что, рассматривая понятие женщины в частностях, его пытаются сделать внутренне согласованным, тогда как на самом деле женщина — всегда воплощенное противоречие-в-себе: легкомыслие и серьезность, сумасшествие и здравомыслие, беспокойство и гармония, капризность и глубина, гном и ангел. Отсюда бесконечность и безнадежность дискуссий, в хо-

де которых вся острота противоположности женщины по отношению к мужчине будет вменяться ей в вину. Наверное, так было во всех предшествующих эпохах и продолжает существовать по сей день: для взаимопонимания полов было бы куда легче, если бы образ «Катюши» был более характерным для крайних проявлений женственности, чем образ «Тогенбургца» для крайних проявлений мужественности*.

В том чтобы сводить все самое важное в понимании существа полов к разработке идеала любви во всем его совершенстве, сводить до него все, что может относиться к гармонизации человечества, которое в этом, как говорят, «совсем не нуждается», — проявляется в высшей степени характерное для нашего времени общее преувеличение. Женская сущность, с точки зрения идеала, предлагаемого мужчинами, воспринимается как нечто плаксиво-преувеличенное, позволяющее ей не замечать, что лишь совместные усилия приводят к нашему дальнейшему развитию. Мужчины же предпочитают в свою очередь не замечать, что деятельность, направленная вовне, вынуждена осуществляться путем отказа от самой возможности духовной гармонии, что пребывающее в поиске саморазвитие должно преодолеть массу препятствий и что суще-

* Имеется в виду баллада Шиллера «Ritter Togenburg».

ствуют паузы отдохновения даже для наиболее рьяного мужского напора, который в своем порыве торжественно и любовно мечтает соединиться с красотой. И если, в конце концов, идеал гармоничности более соответствует женской сущности, чем мужской, то возникает подозрение, а не потому ли мужчины имеют такую ярко выраженную склонность следовать по пути, который им предлагается каждой отдельно взятой из их способностей и каждым из их задатков, — его сущность экспандирует себя в любом из них, как в духовном смысле, так и в смысле удовлетворения инстинктивного влечения. Его эротические и эгоистические аффекты социализируются, используя что-то отличное от себя. Такая социализация будет происходить скорее у ответственного, самодисциплинированного, общественно значимого для других мужчины, склонного вовлекаться в то, что он делает, — она будет проявляться в форме порождения новых социальных норм, в то время как естественная норма женщины в ее неразделимости тела и души учит синхронному совпадению с ритмами жизни, тем самым вообще ставя под вопрос возможность дальнейшего социального развития. Поэтому мужчина любит женщину больше всего и сильнее всего именно за то, что она стала для него подобным образцом естественной пульсации жизни, в следовании которому возникает интегрированный он сам

и возникнут его дети. Его любовь также коренится в том, что может дать только женщина: ее тело необыкновенно мягкое, в ее голосе сквозит юность, своей властью она наследует одного человека другим — она кажется воплощением вечного материнства, оставаясь вечным ребенком.

В настоящее время наличие половых различий рассматривается как столь фундаментальная характеристика человека, что идея о каком-то ином положении вещей кажется просто невозможной; несомненно, что факт их существования должен основываться на веской причине. Чем более остро делается вывод об особенностях половых различий, тем более очевидным кажется существование некого места, локуса, в пределах очертаний мужчины и женщины, где должны пересекаться линии их сущностей, — должна существовать некая точка, исходя из которой далее их жизни развиваются как некие целостности, сверхполые андрогины; ее наличие столь же очевидно, как и то, что все мы произошли от отца и матери. И чем в более глубокие слои мы будем погружаться в нашем исследовании, тем яснее будет проступать единство половой раздвоенности. В наибольшей степени это касается духовно-творческой деятельности, словно бы она, приходя к нам из необозримой дали поколений ради того, чтобы освободиться от собственной чрезмерной полноты жизни, некогда и положила нача-

ло половой двойственности, породила полюса, перепад напряжения, импульс к развитию. Поэтому не удивительно, что для объяснения данного феномена столь часто обращаются именно к личностям художников, к гениальности как таковой.

Там, где наше побуждение к сотворению чего-то внешне материального нуждается в наличии дополняющей половины, острота противостояния полов не только сглаживается, но и впервые осознается как таковая. Все, что интегрируется в нас самих под влиянием эротического аффекта, имеет смысл, скорее, только для достижения этой цели прорыва за рамки половой разделенности — человек как представитель своего пола в таком состоянии кажется буквально перегруженным собственным полом, ведь лишь выступая в качестве дополняющего «другого мира», он приходит к желаемому единству. И действительно, решающий характер этого состояния и процесса с большей очевидностью обнаруживается в пределах крайнего заострения преувеличения половых различий, в том смысле, что только в данном случае содержание понятия «мужской» или «женский» раскрывается в отношении отдельно взятого человека.

Поскольку тот аспект дела, который в состоянии направить наше исследование от чрезмерных абстрактностей к многостороннему освещению конкретики, первоначально оказался выпущен-

ным, то имеет смысл взяться за него сейчас. А именно это касается рассмотрения обстоятельств того, как между отдельными личностями может возникнуть такое переживание, как любовь, которое существенно преобразует их обоих.

Если критерием совершенно осуществившейся любви избрать принцип разделенности испытываемого чувства и возможность утверждать, что любящие переживают его одинаковым образом, то такая любовь сама по себе будет совмещать обе гендерные ипостаси человека, она соединяет их приблизительно так же, как в телесном плане зачатие соединяет мужское и женское. Мужчине это дает возможность, несмотря на обострение межполовых различий, наряду с этим осознать и противоречия, которые заключаются в рамках его собственного пола*.

---

* Дружба между различными полами, где она действительно лишена всякой эротической окраски, возможно, была бы в состоянии оказать подобное обоюдное влияние на становление таких существенных черт, которые вследствие рудиментарной представленности в сфере половой жизни помимо данного вида отношений вообще проявляются крайне редко. Если же эти черты чрезмерно акцентируются с самого начала, то отсюда имеет обыкновение развиваться особый вид эротики, предполагающий извращенную сексуальность с обеих сторон. В ее пределах возможны любые созвучия, начиная от созвучий в сфере духовного гермафродитизма и кончая резонансом в сфере чисто телесной.

Если в телесных процессах зародышевая плазма, семя, могла стать физической причиной, оказывающей на нас скрытое и всевозрастающее влияние, то духовно взлелеянная любовь получила бы возможность освободить в нас то, что на данный момент в нашем развитии не предусмотрено. Чувственное опьянение, которое всегда сопутствует физическому возбуждению, в данном случае было бы почти полностью освобожденным для творения положительных духовных ценностей. В итоге можно было бы добиться того, что на фундаменте раскрепощенного воображения два человека смогли бы выявить в каждом из них двоих и в своем ребенке ту латентную психическую двуполость, которая является творческим принципом в созидании всего сущего. Здесь разполовиненность впервые самостоятельно

В таких случаях возможно нечто вроде удвоения, которое соучаствует в основании нашего существа и которое в мире действительности потеряло бы свое одностороннее значение поддерживающего фундамента, так что оно не могло бы достигнуть синтетического единства и найти волшебное слово для освобождения от чар. В этом пункте проблема соприкасается с феноменом двойственности и с особенностями духовно-творческой деятельности, как если бы посредством дружеских отношений человек обретал бы нечто существенное вместо того, чтобы, помешавшись на телесности, замкнувшись в ее сфере, страдая от физической беспомощности, искать себе мир гармонии путем установления отношений с гомосексуальным партнером.

стремится к своей духовной интеграции ради осуществления «своего сверх». Присутствие мужественности в женщине и женственности в мужчине, которое наблюдается у всех нас, работает по-разному в каждом из индивидуальных случаев. Иногда это совершенно раскрепощает персону от того пола, к которому она принадлежит, и нарушает гармонию, хранимую самой сущностью его/ее бытия, смывая клеймо женственности с женщины и феминизируя мужчину. Но только в тех людях, которые ориентированы постоянным присутствием своего партнера «внутри себя», наша психическая бисексуальность может стать плодотворной.

Поэтому если физический любовный оргазм, посредством своей объединяющей нас силы, несет с собой ощущение блаженства, то «духовный оргазм», как редкостное переживание любви, действительно может оказаться совершенным счастьем и внутренней полнотой. Безошибочный инстинкт подталкивает нас к предположению, что любовь, согласно своему изначальному и совершенному смыслу, таит в себе более глубокое предназначение, чем физическое сотворение новой жизни.

Поэтому именно здесь, где любящие друг друга еще раз с почти первозданной подлинностью внутренне переживают свою судьбу, они впервые кажутся прочно связанными друг с другом, связанными той связью, которая не ограничивается

принципом простого взаимодополнения недостаточных в самих себе половинок, а ради преодоления противоположностей привносит в любовь инородные ей компоненты. Два человека, мужчина и женщина, посредством друг друга достигают сверхличностного единства и взаимопроникновения, которое парадоксальным образом оборачивается внутренней глубочайшей независимостью, повсеместной и вечной самостоятельностью.

Масштаб и границы оценок

То, что по сути своей проявляется только в своей особенности, а именно сущность живого, пик жизненности в нем, не может быть однозначно определено и, по-видимому, всегда будет проясняться в противоречивой форме. Время от времени эротика претендует на то, чтобы масштаб и границы рассмотрения радикально менялись, ставились с ног на голову, раскрепощали ее до состояния первоначальной спутанности, в котором она еще не достаточно ясна и очевидна, но столь разнообразна в своей действительности и изобилует всеми возможностями. Эта ее претензия становится особенно значимой, если вспомнить о нерасторжимой общности объемлемых ею феноменов, отдельные черты которых становятся достоянием всех осталь-

ных, а результаты прогресса и утончения эротического сознания с необходимостью должны опираться на более низкие, изначальные формы манифестации эротики в мире.

Таким образом, мы не можем приступить к последнему и высшему без того, чтобы не уважить его святое право быть рассмотренным с позиции самого изначального, согласно тому принципу, что чем ближе мы проникаем к основанию эротического, тем более всеопределяющим оно нам кажется. Это напоминает, как растет индийская смоковница, это древо мира: ее ветви, свисая до земли, превращаются в воздушные корни, что дает смоковнице возможность как бы заново укорениться в почве, — каждое из отдельных ответвлений в виде столпов поддерживает нижние ярусы дерева, в то время как над ними, освещенная солнцем, шумит крона материнского ствола, растущего от исконного корня.

Уже в животном мире мы мало что можем обнаружить из высших душевных проявлений эротического, которые на этом «ярусе» могут быть представлены лишь их физиологическими коррелятами, но пускай и в почти кромешной, едва освещенной тьме здесь все-таки тоже властвует божественная сила Эроса. Неслучайно мы здесь наталкиваемся не только на животную грубость, но и на восторги половой любви до нежнейших эстетических проявлений, до самопожертвования в заботе друг о друге

и о своем потомстве. Попугаи и некоторые виды обезьян являются весьма последовательными в реализации своей моногамной предрасположенности (что, к сожалению, нельзя сказать о человеке), пчелы и муравьи демонстрируют нам такие совершенные образцы социального инстинкта, которые мы едва ли сможем превзойти даже в самом отдаленном будущем.

До некоторой степени это можно отнести и к сохранившимся расам, которые временами кажутся нам «людьми из рая»: несмотря на явную грубость и мрачность некоторых их ритуально обусловленных обычаев, они зачастую превосходят нас в какой-то естественной чистоте, добродетели в верности. Существенные превращения полового инстинкта происходят как у нас, так и у примитивных существ, однако если в человеке при любых трансформациях остается нечто, за что его можно любить, то животный мир под влиянием постоянно развивающегося интеллекта может выразить себя по двум совершенно различным направлениям: животная жизнь либо подвергается сублимации, либо направляется в русло разрушения. То, что у одаренного разумом существа мозг уже является не просто автоматическим регистратором всеохватывающего возбуждения, а поводом для злоупотребления в произвольном возбуждении ради получения искусственно спровоцированного телесного удоволь-

ствия, разрушает непосредственность в переживании сексуальности. Все большая раскрепощенность инстинктивной жизни, наконец, выход за временные рамки периода течки высокоорганизованным существом может использоваться для стимулирования все более локальных и все менее непосредственных переживаний, и все это вместо достижения большей сопричастности Другому, более глубокой способности к сочувствию и вовлеченности в жизнь ближних, то есть в ущерб развитию эротического «вчувствования» в иного и иное. Разум, достигший стадии значительной рафинированности и склонный при этом исповедовать доктрину «регулярного удовлетворения своей физиологической потребности», может служить превосходной иллюстрацией того, до какой стадии греховного упадка может дойти половое влечение, дарованное нам как аванс экстаза полноты и нерасщепленности бытия.

Однако при возгонке сексуального до «эротического образа» происходит нечто противоположное: поскольку наше воображение, не зная меры в преувеличении ценности своих объектов, накладывает на них масштаб собственной духовности, то вполне естественно, что они постоянно вводят его в иллюзии. В связи с этим все, что связано с практической деятельностью, осуществляется воображением с удивительным легкомыслием. Поскольку

в действительности сексуальное влечение подчиняется закону о взаимосменяемости возбуждения и удовлетворения, причем с каждым повторением (циклом) сила желания уменьшается, вполне понятно то стремление к смене партнеров, которое характерно вообще для всего животного царства. Вряд ли кто-нибудь будет возражать, что индивидуализация и утончение полового влечения преимущественно коснулись не основ эротизма, а тяги к «гурманизации» процесса.

Если в прежние времена загулявший супруг для сопровождения в командировке выбирал себе женщину в зависимости от того, была ли она шатенка или блондинка, худая или полная, — даже до сих пор мы такие нюансы различаем вплоть до полной казуистики — то на сегодняшний день мужчина ищет женщину, «годную для поездки»: сдвиг критерия в психологическую и игровую плоскость! Но, впрочем, всевозрастающая дифференцированность эротического во все времена и у всех мужчин повышает потребность в разнообразии внутри самих отношений и несколько снижает стремление к переменам.

Необходимо спокойно следовать за виражами эротики, на которых она проявляет себя столь опасно и столь соблазнительно. Состояния, высоко взмывающие над средним уровнем, над обыденностью жизни, склонны рассеиваться под влиянием

времени, особенно если они представляются как идущие друг за другом неразрывно. Это происходит вследствие необыкновенной концентрации их энергии, которая в связи с этим расходуется чрезвычайно стремительно, придавая таким состояниям ореол «преходящей вечности», и состояния эти, в свою очередь, мистическим эхом отдаваясь во всех сферах жизнедеятельности человека, позволяют ему физиологическое удовольствие переживать духовно, а душевную боль воспринимать физически. Два человека, которые с полной серьезностью воспринимают «преходящую вечность» своей любви как масштаб своих деяний, но при этом не желают рассматривать верность как необходимый залог блаженства совместного бытия, живут в сумасбродном лихорадочном обожании, и даже если их глубже понятая специфическая верность выглядит по-своему эффектно и длится дольше, чем у иных, то все-таки это происходит не более чем из-за страха потери, из-за страха пустоты жизни, из-за жадности или слабости. Со всеми своими издержками они приходят только к полузаконченному эскизу любви, тогда как окончательное завершение и высшее мастерство исполнения достаются в удел другой картине бытия. В описанных же случаях эротическое получает свое оформление благодаря отважному любовному легкомыслию, смелой вере в бессмертие эмоции, той величине, которую

она выбирает своим масштабом, особому сочетанию нежности и искренности, и все это вызывает большие опасения, что основы этой «девственной» этики будут поколеблены, ибо все, что находится вне ее, находится ниже ее, несоотносимо с ней, неприемлющей в себя никаких «инъекций повседневности».

Трагичность, однако, заключается в том, что эротический аффект подчиняется законам, масштаб которых слишком велик для обыденной жизни, и потому аффект характеризуется не только своей быстротечностью, но и искаженным представлением о своем стремлении к вечности. Поэтому там, где не пренебрегают его иллюзорным характером, он перерастает в болезненное состояние напряжения и тревоги по его поводу, искусственного цепляния за то, что по своей сути может осуществляться только преходящим образом. Доведенный до опасной концентрации, сведенный в своем действии до побудительных сил организма, в чем-то механический, более не прогрессирующий по шкале жизненности, эротический аффект становится в такой же степени преобладающим, в какой и чужеродным душе элементом, которому в лихорадке постоянной борьбы «за удержание чувства» здоровая личность пытается найти подходящую отдушину. Если посредством обоюдного обожания происходит развитие стерильно-духовной сферы

людей, то посредством рождения ребенка, что, казалось бы, соответствует более примитивному уровню, тем не менее происходит действительное вступление в «другое», в жизнь, и тем самым приобщение ко всеобщему. Учитывая, что эротическое вмещает в себе продуктивные противоречия, но многое из него не способно быть впитанным повседневной жизнью, то потребность дальнейшего позитивного, а не акцентированно-болезненного развития аффективной сферы становится очевидной. Аффективная часть эротического стремится сохранить себя, и, отдавшись круговороту текущей жизни, не поглотиться им, а исподволь управлять его руслом в направлении реализации суверенных целей человека, которые в глубине своей всегда эротичны.

Жизненный союз

Для того чтобы полностью отдать себе отчет в специфике наших любовных мечтаний, нам, словно с трамплина, необходимо совершить прыжок с небес на землю, и он будет тем более затяжным, чем смелее были наши мечты. Первоначально в иллюзии сублимируются только сопутствующие явления, только побочные эффекты физических процессов. И уже тогда они не являются опережением

собственной действительности, продлением жизни, знаком и обещанием будущего; их напор приводит к забыванию того, что инстинкт жизни должен охватывать всю широту действительности, какой бы примитивной и грубой она не представлялась; как человек, зачарованный собственной влюбленностью ради того, чтобы в итоге прийти к самому себе, охватывает им самим рожденную призрачность. Непонятно, почему люди в порыве любви, сколь глубоким ни было бы их чувство, иногда все же могут испытывать определенное разочарование от соприкосновения с тем, что существует вовне: и это касается не только тех случаев, когда мечта не смогла осуществиться, но и тех, в которых все складывается, казалось бы, наилучшим образом. Тем не менее все живое всегда осуществляет свое бытие исключительно путем распада, деления и смешивания, посредством расщепления собственной личности, приблизительно так, как это происходит с зародышем в утробе матери, который длит свою жизнь путем деления и дробления. Допустим, что порыв любви и жизненный союз, брак, значительно не совпадают друг с другом, тогда не совсем ошибаются те, кто иронически утверждает, что некоторым свойственно находить нечто там, где другие только теряют, и это связано не с различием целей, которые они себе ставят, а с существованием

двух фундаментально различных способов переживать любовь.

На самом деле эротический аффект заканчивается в особой этике чувства приблизительно так же, как река заканчивается в море: достигая общности, он прекращает свое существование, но вместе с тем облагораживается и начинает вбирать, впитывать в себя внеэротические явления. Жизненный союз осуществляется путем исчезновения более раннего аффекта, в тот момент, когда к нему присоединяется компонент воли. Ничего не поделаешь: смерть предыдущего в последующем — основа всего. Мужскому, чисто «головному», этически обусловленному понятию верности необходимо найти основу в женской интуиции целостности влечения. Вполне допустимо, что на основании новых данных психофизиологии будут сделаны выводы в пользу сексуальной воздержанности, следование которой было бы не только приемлемо в отношении здоровья, но сказывалось бы полезно в смысле аккумулирования жизненной энергии, а также имело бы преобразующий эффект. И тогда найдется немало женщин, которые с тайной улыбкой чувствовали бы, что они об этом давно уже что-то знали, они, в которых принудительное сексуальное воспитание всех христианских столетий, по меньшей мере на некоторых уровнях, обернулось

естественной независимостью в противоположность голой потребности инстинкта. Хотя именно эротическая любовь служит основанием для становления жизненного союза, все же она учит лишь тому, что к ней следует относиться по преимуществу как к некоему феерическому промежуточному этапу, высшее назначение которого задавать пространство для дальнейшего развития. Дух, который перед тем возвысил эротическую любовь от сексуального инстинкта до праздника слияния душ, на этом этапе относится к ней как к буднему дню и оказывается вынужденным покинуть ее ради дальнейшего продвижения и углубления. Ему предстоит одухотворять новую, еще не испробованную форму бытия — жизненный союз двоих. В данном случае верность оценивается уже не как побочный продукт той сверхценности, которая приписывается тем особенным отношениям, что чудесно и восхитительно сложились между мужчиной и женщиной, а как принцип некой универсальной связи всего живого. Любовный порыв по отношению к жизненному союзу подобен буйству весеннего цветения по отношению к долговечности самого дерева, способного каждую весну черпать из почвы силы для нового роста. Любой радиус, в котором сконцентрировалась эротика, превращается в спасательный круг вечности в потоке временности. И чтобы покрывать вечность, к которой мы прико-

ваны якорем эротики, дух должен отдавать должное природе. Вообще попытка разъять единое развитие на два отдельных потока — духовное восхождение и природную эволюцию — не более чем абстракция, ужасное расщепление неразделимого. Является ли брак чисто духовным установлением, санкцией, дарованной небесами, или результатом естественного отбора наиболее жизнестойких форм существования? Во всяком случае, мало какой жизненный союз способен удержаться от смешения самого возвышенного с откровенно пошлым. Враги супружества упрекают его чаще всего именно за этот эклектический характер. Знаменитая венчальная формула «навеки в радости и горе» еще не открывает, как практически, совсем по-иному, чем в порыве любви, должна проявиться подлинность супружеского чувства — претерпевание горестей и разделение радости не в непосредственности аффективного экстаза, а для конечной цели полной общности. В конечном счете тайна брака заключена в том, что он означает жизнь друг ***в*** друге, а не друг ***с*** другом, пусть даже в религиозном, совершенно идеальном смысле. Супруги «друг в друге» — это одновременно любимые, брат и сестра, беженцы, укрыватели, суровые судьи, милосердные ангелы, снисходительные друзья, непосредственные дети; более того — два распахнутых навстречу друг другу бытия, доверчивые в своей божественной наготе.

ОПЫТ БОГА

Наш первый опыт, исключительное переживание — это опыт утраты. Когда-то изначально мы были неделимым целым, полностью и неотъемлемо принадлежали Единому, и вот мы были выброшены в рождение, стали маленьким фрагментом этого Единства и с тех пор неотступно озабочены тем, чтобы не подвергнуться новым «ампутациям». Уберечь хоть осколок цельности и заявить о себе внешнему миру, который наваливается на нас в своем многообразии и в который, покидая наше абсолютное величие, мы упали, как в пустоту, — ту, что поначалу лишила нас всего.

Первая «память» — именно так мы назовем это чуть позже — одновременно шок, разочарование, связанное с потерей того, чего больше нет, и необъяснимая уверенность, запрятанная в каком-то уголке сознания, что это должно еще быть.

Здесь скрыта проблема детства — первая и изначальная. Это же присуще и всему человечеству

в эпоху его детства — чувство принадлежности к бесконечной Вселенной, напоминающее о себе по мере того, как человеческое сознание пробуждается от соприкосновений с испытаниями жизни: кажется, здесь исток великого мифа об исконной причастности ко всемогуществу. И первые люди умели поддерживать эту веру с такой убежденностью, что мир вероятностей казался полностью зависимым от магии, практикуемой людьми. Последние всегда слегка сомневались в независимости внешнего мира, который, казалось, еще недавно представлял с ними единое целое: они всегда исправляли кажущийся разрыв, прокравшийся в их сознание благодаря воображению. Этот невидимый, но переживаемый мир над и рядом с собой, это воображаемое возражение посюсторонней проблематичности существования человек назвал своей религией.

И он был способен и смог по-детски непосредственно совместить в своем сознании религиозные верования с объективными ощущениями, потому что его пробуждающаяся способность здравого смысла еще очень слаба, а его природная склонность не хочет ничего признать невозможным и принимает любые чрезмерности как правдоподобные, — все превосходности сплелись магически в человеке.

Пусть не думают, что ребенок, не подвергшийся какому бы то ни было религиозному влиянию, может полностью избежать этой первой фазы: его смутная способность распознавания реальности никогда не оспаривает силу его желаний, по преимуществу чрезмерных. Потому что вначале мы не склонны отказываться от нашего чувства принадлежности ко всей Вселенной, которое достигает невиданных пропорций, охватывает все и непроизвольно переносится на предметы наших первых привязанностей или наших первых несогласий, требуя преображений или деформаций. Да, скажем ТАК: если время не помешало ребенку сохранить на дне души этот изначальный вид опыта и на него слишком плотно наслоились разочарования, которые неизбежно накапливаются, когда его ощущение реальности вынуждено слишком рано сделаться критическим, остается опасаться, что его естественное желание фантасмагорировать, которое предшествует во всей широте пробуждению сознания, будет насильственно подавлено и по-особому отомстит однажды прозаической действительности химерными экстравагантностями, и тогда увлеченная этой запоздалой реакцией личность может совсем лишиться критерия объективности.

Но нужно добавить и следующее: у нормального ребенка воспитание его слишком религиозным как бы стирает реальный облик того, что он замеча-

ет вокруг, и если на определенном этапе его особая любовь к сказочным историям не уступит место живому интересу к жизни, произойдет чаще всего воспрещение развития, разнобой между составными частями сознания — теми, которые ему представляют «вкус самой жизни», и мифопластами, которые его удерживают от смиренности перед ограничениями этой жизнью навязываемыми.

Фактически при нашем рождении происходит разрыв (между миром и чем-то другим, откуда, как нам кажется, мы могли бы явиться), который разделяет отныне две формы, и само наличие этого разрыва взывает к существованию «связного» между мирами. В моем случае многочисленным столкновениям раннего детства удалось спровоцировать определенную регрессию: тогда как мое суждение уже достаточно хорошо адаптировалось к реальности, я перенеслась в мир чистых эйдосов, безграничного воображения; родители, взгляды родственников были тогда мною оставлены (почти что преданы) ради более полного состояния, большей принадлежности к высшей силе, которая приближает к тотальной суверенности, даже ко всемогуществу.

Образно говоря, все происходит так, словно покидаешь утробу родителей, от которой однажды нужно оторваться, чтобы погрузиться в утробу Бога, который кажется Главным Отцом, пестующим

нас безусловнее, позволяющим все, сверхвеликодушным, будто карманы его полны подарков, и это делает нас такими же сильными, как он, хотя и не такими «добрыми»; он представляет фактически слияние двух родителей — тепло материнской утробы, соединенное с отцовским всемогуществом. Разделять, разводить эти миры силы и любви означает насильственно взрывать состояние изначального блаженства, которое предшествует рождению и находится еще по ту сторону любых желаний, любых стяжаний из внешнего мира.

Но где человек берет способность извлечь продукт своего воображения для истинной действительности? Без сомнения, источник этого — в упрямой неспособности человека самоограничиться во внешнем мире, признать реальным, что то, что **вне «Нас»**, уже не является нашим продолжением, что оно нас полностью исключает.

В моем случае эта неспособность оказалась причудливо связанной с моими отражениями в зеркале. Когда я должна была смотреться в него, я была странно поражена открытием, что Я — только *то*, что там вижу: существо, ограниченное со всех сторон и обреченное *больше не существовать* в других вещах, даже самых близких. Когда я не смотрелась в зеркала, это впечатление стиралось, и в какой-то степени мое чувство отказывалось верить в «неприсутствие» во всем: если частички моего «я»

не находили больше приюта во всем, что окружало меня, это означало потерю вселенского пристанища. Порой мне кажется, что подсознательно эта проблема сбереглась во мне и позднее, во времена, когда внутреннее самоотражение давно уже выражает положенную четкую самоидентификацию: я всегда инстинктивно сливалась со внутренними мирами других, мне было непросто четко отмежевывать себя от близких.

Благодаря маленькому детскому воспоминанию, мне удалось позднее отрефлексировать, как мне приходилось тогда поступать, чтобы ограждать себя от сомнений. Однажды отец принес мне с праздника при Дворе изумительную папилотку, в которой я представила себя в одеждах из настоящего золота, но когда я узнала, что одежды были из тонкой шелковой бумаги с позолотой по краям, я просто не развернула пакет. *Значит*, там все-таки была, несмотря ни на что, одежда из золота, просто я оставила ее в волшебной неприкосновенности.

Так, подарки Бога-Праотца не должны были быть видимыми для меня, потому что их ценность и обилие представлялись мне огромными; они *абсолютно* присутствовали и не имели никакой привязки к реальным поводам, как другие, несакральные подарки, получаемые от людей в знак их внимания. Ведь всякие дары на празднества и дни рождения присутствовали там не *абсолютно*, а по-

тому, что ты был послушным, или как аванс будущего послушания. Но я часто была непослушной девочкой, и из-за этого меня ужасно наказывали березовой веточкой, на которую я никогда не упускала случая пожаловаться надменно Доброму Богу. И он был полностью на моей стороне и даже разгневан иногда...

Конечно, эта живость моего воображения постепенно подводила меня к расширению рамок каждодневной жизни видениями, которые я накладывала на реальные события и которые чаще всего вызывали улыбку. Однажды летним днем, когда я возвращалась с прогулки с одной родственницей чуть старше меня, нас спросили: «Ну хорошо, что вы видели на прогулке?» Со множеством подробностей я рассказала целую драму. Моя маленькая спутница, по-детски честная и простодушная, посмотрела на меня с расстроенным видом и оборвала, крича ужасным голосом: «Но ты же лжешь!»

Мне кажется, что именно с того дня я старалась выражаться точно, пытаясь ничего не добавлять, даже самую малость, хотя эта ограниченность, которую мне навязывали, меня страшно огорчала.

Слишком многие не проводили различия между мифом и ложью. После этого случая я поняла, что нужно заменить слушателя своих историй на бесконечно щедрого и доверчивого: я начала рассказывать свои сказки о подлинной жизни Доброму Бо-

гу по вечерам в темноте. Я ему изливала легко, без понукания, целые истории. Эти истории были особенными. Они порождались, мне кажется, из желания обладать властью, чтобы присоединить к Доброму Богу внешний мир, такой будничный рядом со скрытым миром. И совсем не случайно, если я заимствовала материал для своих историй в реальных событиях, во встречах с людьми, животными или предметами, иметь Бога в качестве слушателя было достаточным основанием, чтобы придать им сказочный характер, который мне не нужно было подчеркивать. Напротив, речь шла только о том, чтобы убедиться в существовании реального мира. Конечно, я ничего не могла рассказать такого, чего Бог в своем вечном всеведении и могуществе уже бы не знал; и это как раз гарантировало в моих глазах несомненную реальность моих историй. Поэтому, не без удовлетворения, я начинала всегда с этих слов: «Как Тебе известно...»

О «маленькой трагедии», из-за которой эта воображаемая связь, хоть и неясная, оборвалась, мне вспомнилось во всех подробностях только очень поздно, на склоне моих дней; о ней упоминается в маленьком рассказе, названном «Час без Бога», но ребенок из рассказа помещен в другом месте и других условиях: может быть, для того, чтобы выразить свое скрытое «я», мне нужно было всегда создавать определенную дистанцию.

А дело было так.

Слуга, который зимой приносил в город свежие яйца из нашей сельской усадьбы, рассказал мне, что видел посреди сада, перед домиком, который принадлежал только мне одной, «семейную пару», которая хотела войти, но которую он выпроводил. Когда он в следующий раз пришел, я спросила о парочке конечно же потому, что мысль о их страданиях от холода и голода меня беспокоила:

— Куда же они смогли уйти?

— Ну, — сообщил он мне, — они не ушли.

— Тогда они все еще перед домиком?

— И это не так: они полностью изменились и, можно сказать, исчезли. Потому что однажды утром, когда он подметал перед домом, он нашел только черные пуговицы от белого манто женщины, а от мужчины осталась лишь совсем мятая шляпа; а земля в том месте была все еще покрыта их застывшими слезами.

То, что взволновало меня больше всего в этой истории, не было чувством жалости к паре, это была непонятная загадка времени, которое проходит и уносит с собой вещи неоспоримые и реальные...

Что-то, казалось, лишает меня настоящего объяснения этой загадки времени, и все во мне страстно требовало ответа. Обычно Бог не обязан был мне отвечать, ему требовалось только быть, так сказать, очень внимательным к тому, что он уже сам знал. На этот раз я тоже не просила у него много,

но мне нужна была разгадка, окончательная. Своими невидимыми губами немого рта ему нужно было произнести только несколько слов: «Мсье и мадам ***Снег***». Но он молчал, и это стало катастрофой. И это было не только моей личной катастрофой: она разорвала покрывало, скрывающее невыразимый ужас, который нас подстерегал. Потому что не только я *одна* видела, как *уходит* Бог, — его потеря коснулась всей Вселенной.

Эта катастрофа коснулась даже героев моих сказок и историй. Я помню, в разгар моей кори, в приступе горячки, кошмар, в котором я наблюдала многочисленных персонажей своих историй, бездомных и одиноких, покинутых мною. Без меня никто из них не знал, куда идти, ничто не могло их освободить от смятения. Ведь теперь мои истории не начинались, отдыхая какое-то время на нежных руках Бога, и он не извлекал их из своих огромных карманов, чтобы сделать мне подарок, полностью освященными и оправданными. Были ли они настоящими с тех пор, как я не начинала их больше с уверенного: «Как Тебе известно...»?

Отсутствие Бога, конечно, не превратило меня в маленькую дьяволицу: оно, что удивительно, сделало меня намного послушней, несомненно, потому, что моя удрученность должна была смягчить мое привычное неповиновение и строптивость. Я чувствовала непреодолимое сострадание к своим

родителям, для которых я не должна была теперь быть причиной дополнительных забот, ведь они тоже были поражены в самое сердце, как и я; да, они тоже потеряли Бога, *но они этого не знали*.

Иногда я думаю, что «прививка» детской богоутраты уберегла меня позднее от шока и невроза «смерти Бога», который так смял душу Ницше, заставив его религиозный гений болезненно сконцентрироваться на себе самом вместо обращения к живительной силе, лежащей вне его и включающей его. Я слишком хорошо если не знала, то чувствовала благодаря этому столь мимолетному и столь глубоко запечатленному в душе эпизоду детства, что в утрате Бога всегда кроется... пусть не вина, но некое странное *соучастие*. Так, я помню, как во время наших обычных молитв я была буквально выброшена из оцепенения, когда имя дьявола или дьявольских сил было произнесено вслух: «А существует ли еще он, *тот*?» — вспыхнуло во мне. Он ли окончательно освободил меня от утробы Бога, где мне было так хорошо и спокойно? И если это он, то не облегчила ли я ему таким образом задачу? Ведь поразительная банальность обстоятельства, которое меня заставило подвергнуть моего Господа испытанию, с трудом позволяло верить в достаточность такого повода. И все же в своем самом первом детском стихотворении, начертанном в таинствен-

ном свете бессонных ночей бабьего лета, я обращалась если не к Богу, то к Небу:

О небо, ясно распустившееся надо мною,
Именно к тебе я взываю:
Сделай так, чтобы отныне радости и горести
Не мешали мне глядеть на тебя!

Ты, простирающееся над миром
Сквозь пространства и бури,
Укажи мне путь, в котором я нуждаюсь,
Чтобы обрести тебя...

Радостям я не хочу конца,
Но не хочу и прятаться от горя;
Хочу простора, синевы и моря,
Чтоб преклониться и растаять в нем.

Я помню свое удивление, когда однажды, роясь в бумагах, наткнулась на этот листок, совсем пожелтевший и истрепанный; я забыла об этих стихах, но когда я их перечитала, обнаружила там основную тональность, которая с тех пор прошла через всю мою жизнь и все мои поступки.

И этот пожелтевший листок напомнил мне другой, с ницшевским росчерком на обороте. Он выудил из моей памяти маленькую жизненную историю. В юности у меня над кроватью висел

календарь библейских сентенций, содержавший 52 параграфа, сменяющих друг друга на протяжении года, и когда настала очередь Тезиса 4, 11, я его закрепила:

«Будьте кротки, как голуби, и мудры, как змии. Выполняйте ваше предназначение, не гнушаясь работы собственными руками».

Это изречение иррационально чем-то так взволновало меня, что, устроившись за границей, я попросила переслать мне наряду с другими различными вещами и этот листок. В то время я не могла бы убедительно объяснить, почему я это сделала. Но этот календарь с этим изречением и сегодня все еще у меня, и это можно понять, потому что до сих пор во мне еще просыпается это раннее чувство заброшенности, смешанное с полной покорностью судьбе. Эта цитата необъяснимо поддерживала меня все те годы, когда Бог был мне чужим. И она выстояла, даже несмотря на модификацию, которой ее подверг Ницше: прочитав, он перевернул листок и написал на обороте гётевский девиз из «Горячей исповеди»:

«Оставь привычку полумеры ради действительной жизни во всей ее полноте и красоте».

Это искушение Ницше не заставило меня отречься от изначальных, глубинных переживаний. А от внешней религиозности отвлекать меня было излишне: ко времени встречи с Ницше я уже про-

шла через опыт отказа от конфирмации. Когда мне было 17 лет, именно одно внешнее событие пробудило в моей памяти религиозные столкновения раннего детства. Я готовилась к конфирмации с Германом Дальтоном, пастором Евангелистской Реформатской Церкви. По этому случаю что-то во мне приняло сторону Бога моего детства, казалось бы, исчезнувшего с давних пор, столкнувшись с оправданиями и нравоучениями, в которых он тогда совсем не нуждался. Что-то вроде благоговейного и тайного бунта заставило меня отвергнуть доказательства его существования, его прав, власти, его несравненной доброты; я испытывала что-то вроде стыда, потому что все это мне казалось глубокими тайнами моего детства. Пастор слушал все это, изумленный. Конкретно вопрос о конфирмации был решен следующим образом: апеллируя к болезни моего отца, Дальтон убедил меня остаться на второй год подготовки, чтобы, покидая Церковь, не спровоцировать конфликт, который неизбежно расстроит мою семью. Но я все-таки ее покинула. То, что повлекло это решение, не было фанатичной любовью к правде, а, скорее, инстинктивным и бесповоротным внутренним чувством Судьбы. Перед этим я увидела сон, в котором мои губы произносили «нет».

В течение жизни моя учеба и другие обстоятельства привели меня к занятиям философией и даже

теологией — сферам, к которым меня всегда стихийно влекло. Однако это вовсе не было связано с прирожденной набожностью моей натуры и уж совсем никак с моим внутренним переломом. Никогда интеллектуальным усилием я не пыталась возродить прежнюю детскую веру, так как она никогда не осмеливалась проникать в «мысль взрослого человека». Слишком ранний характер впечатлений детства, описанных мною, мог бы по справедливости показаться исключительным и вызвать удивление, потому что он был, без сомнения, связан, как я уже сказала, с сильной инфантильной регрессивностью, или желанием задержаться в детстве. Слишком ранний образ Бога, сформировавшийся в этих недрах, не выдержал бы попытки позднейшего одухотворения: никакая концепция Бога не «приручила» бы моих смутных детских интуиций, а разрушила бы их более чем жестоко и только вызвала бы сильное потрясение. Разумеется, я одобряла и нередко восхищалась тем, как другим удавалось демаршем мысли создать для себя какой-то суррогат — отсеянный и интеллектуализированный — из своей непосредственной изначальной набожности, которую им приходилось каким-то способом связывать с ментальной зрелостью. Конечно, это часто было для них наилучшим способом прослеживать свою внутреннюю эволюцию, постичь урок своей жизни, что им действи-

тельно удалось много лучше, чем мне, которая никогда не могла «переварить» этот «урок своей жизни», не останавливаясь многократно и не переводя дух на «промежуточных станциях». В конце концов, это так и осталось для меня неисполнимой задачей.

Что меня, однако, больше всего привлекало к людям — и к живым, и к уже не живущим, — которые полностью посвятили себя этому виду размышлений, так это их индивидуальность. Напрасно призывали они на помощь всю возможную философскую сдержанность; было ясно, что в динамическом развитии Бог был их первым и последним опытом среди всех, которые им суждено было пережить. Что другое, пережитое ими, можно было бы сравнить с этим опытом? Я никогда не переставала любить их любовью, которая ищет путь к человеческому сердцу, откуда таинственно проистекает наша подлинная судьба.

И все же помимо негативного результата мой инфантильный опыт богоутраты имел на том этапе и решающий позитив: он заставил меня, отрешенную, погруженно-мечтательную, окончательно окунуться в реальность жизни. Я уверена, что для меня, насколько я могу судить по своей биографии, сентиментальные заменители Бога смогли бы только уменьшить его значение, умалить его, оскорбить. Однако охотно признаю, что для многих опыт ин-

теллектуальной трансформации детской веры является совершенно иным, для них это образ, ведущий их дальше, — то, чего я не смогла достичь.

И тем не менее я сумела достичь чего-то принципиально другого — мне удалось дать продуктивный, творческий ответ на первое детское испытание: вера в чудесное всемогущество Доброго Бога была преобразована в фундаментальное чувство беспредельной солидарности моей судьбы со всем, что существует. Оно родилось спонтанно в то самое время и никогда уже не теряло своей силы — это была *презумпция всеобщего равенства судьбы,* которая простирается не только на других людей, но готова слиться со всеми песчинками Космоса. Ценность любой вещи не может быть поколеблена ничем — ни убийством, ни разрушением, ничто не смеет нас заставить не считаться с его *онтологической священностью*, уважая бремя его существования, которое оно разделяет с нами, потому что, как и мы, он ***есть***.

Не могу подобрать слово, чтобы вы смогли понять эмоциональный шлейф, тянущийся от изначального моего отношения к Богу. В действительности, не было никакого другого желания во всей моей жизни более непреодолимого, чем потребность в священном почитании, ибо любое иное желание по отношению к чему-то или к кому-то всегда уже было вторичным. Так что это слово — почита-

ние — еще раз помогает мне выразить солидарность нашей судьбы с другими судьбами, солидарность, которая касается самых важных вещей, хотя, когда речь идет о Судьбе, и самые маленькие вещи имеют свое значение. Иными словами, всегда, когда нечто «есть», оно аккумулирует в себе всю силу Бытия, как если бы эта вещь была всем.

И потому, вне всякой логики и, может быть, вразрез всему рассказанному выше, я должна признать, что любая форма веры, даже самая абсурдная, была бы предпочтительней того, что человечество окончательно утратит *сакралитет* — священное чувство *почитания*, единственно способное высекать в нас искру сопричастности со Всем, с целостностью и переплетенностью судеб.

ОПЫТ ЛЮБВИ

Бывает, что для всей жизни наступает момент, когда стремишься к новому дебюту, разновидности возрождения, и формулировка, определяющая чувственную зрелость как второе рождение, верна. После того как проходит несколько лет привыкания к миру, который нас окружает, к его законам и способам мыслить, которые, вполне естественно, заполоняют нашу маленькую голову, в нас внезапно пробуждается жизненный инстинкт приближения физического созревания, восстающий против отвлеченных материй с таким пылом, что мир, кажется, только начинает создаваться; это мир, куда пришел ребенок — не знающий ничего и ничего не желающий знать, будучи отданным неистовству первых желаний.

Даже самый прозаичный опыт может породить это очарование, это чувство, что мир становится совершенно другим, новым, и все, что ему противоречит, — не более чем невероятное недоразуме-

ние. Но мы не можем упорствовать в этом отважном утверждении, так как мир, такой, какой он есть, заканчивается, когда мы обретаем разум; именно поэтому, много позднее, когда мы оглядываемся на наше прошлое, весь этот «романтизм» пересиливает меланхолия — как озеро в лесу, освещенное луной, или призрачные развалины. Глубокая пульсация нашего существа тогда смешивается в нашей душе с всплесками чувств, связанных с какими-то прошлыми событиями нашей жизни, и непропорционально, и бесплодно. Но то, что напрасно называют романтичным, разыгрывается в реальности того священного пространства, что в нас является совершенно незыблемым, крепким, оригинальным, даже нашей жизненной силой, единственно способной смело выступить против внешнего мира, так как она уверена, что внутреннее и внешнее имеют единый корень.

Вот почему годы, когда подготавливается физическое созревание и которым вообще присущи конфликтность и бунтарство в отношении всяческих норм, вместе с тем являются лучшими для разрешения вторично появляющихся трудностей или запретов.

Вот что со мной произойдет — детские химеры и грезы переплетутся с реальностью. Существо из плоти и крови, посланное мне судьбой, нисколько не нуждалось в «нимбе» из моих грез и химер, но

с неизбежностью было окутано ими. Волнение, которое это существо высекало во мне, лучше всего выразить словами *«человеческое существо»*; это было нечто самое удивительное и самое невероятное из всего, что было до того в моей жизни, и в то же время такое, что не могло быть мне ближе, такое, какого я всегда ждала. И *потому* оно порождало неизбывное удивление: разве что Добрый Бог был столь же близок для ребенка, поскольку, в противоположность ограниченному внешнему миру, он реально присутствовал в его душе. Эта вездесущность и это всемогущество приводили реальность к *человеческому существу*. Но этот богочеловек, казавшийся врагом любой химеры, решительно стремился дать моей душе более позитивную перспективу, и я ему повиновалась с тем большей страстностью, чем труднее мне было привыкать к этой перемене: любовный хмель, который поднимал меня над собой, не мог придать мне реальности, а значит, в одиночку я все еще не дошла до края той пропасти, с которой срываешься в реальный, до сих пор остававшийся незнакомым для меня мир.

Этот учитель, встреченный сначала тайком, был принят моей семьей и помог мне подготовиться к урокам, которые я должна была позднее слушать в Цюрихе. Таким образом, вопреки суровости, он неизбежно становился достаточно расточительным, каким был когда-то «Божественный дед»

моей детской религии, который всегда внимал зову моих желаний: Господин *и* Средство сразу, проводник и соблазнитель, он, казалось, служил всем моим незамутненным намерениям. Но насколько он должен был оставаться для меня в некотором роде замещением, двойником, возвращением к утраченному Доброму Богу, настолько он был не способен дать мне подлинно человеческую развязку нашей истории любви.

Конечно, меня многое оправдывало: и разница в годах, и полярность последней страсти и первого пробуждения любви, к чему прибавлялся еще и тот факт, что мой друг был женат и имел двоих детей приблизительно моих лет (последнее обстоятельство меня не смущало по той простой причине, что оно характеризовало Бога как существо, связанное со всеми существами и принадлежащее всем, хотя и без упразднения исключительности его индивидуальной связи с Лу). Но, кроме того, я была еще ребенком — тело юной девочки с севера развивалось медленно. Следовательно, тело, со своей стороны, должно было высвободить эротический импульс, который оно получило, но без того, чтобы психика взяла на себя или компенсировала это освобождение. Когда подошел решающий и непредвиденный момент, в который он предложил мне осуществить на земле высшее наслаждение жизни, я почувствовала себя совершенно не готовой. То,

что я обожествляла, вдруг одним ударом покинуло мое сердце, мою душу и стало мне чуждым. Чувствовать нечто, что имело *чистые* притязания, и не довольствоваться самореализацией в малости, и вдруг натолкнуться на то, что, наоборот, этой реализации угрожало и пыталось даже отклонить правый путь усилий, которые я тратила, чтобы найти себя (гарантом чего и был до сих пор мой учитель); обрести себя, и лишь для того, чтобы отдать себя в рабство Другого, — все это при свете дня привело к упразднению Другого для меня. Подле меня был действительно другой человек: мужчина, которого я обожествляла и которого, вне этого усилия мифотворчества, я не могла ясно воспринимать. Между тем это обожествление было мне выгодно, так как до сих пор оно было таким властным, что его магия оказывалась необходимой для моей полноценной самореализации. Впрочем, амбивалентная установка, которая всегда лежала в основе моей личности, по отношению к нему проявилась в том странном факте, что я никогда не была с ним на «ты», даже когда он обращался ко мне именно так, и это невзирая на то, что мы вели себя как любовники (на деле ими не являясь). Моя жизнь протекала в интимных нюансах, и «ты» не могло их передать.

Мой друг работал в голландском посольстве: моряков необходимо было приводить к присяге,

посему потребовалось создать пост священника; он проповедовал в капелле на Невском как на немецком, так и на голландском. Сколь много времени посвящал мой друг, дабы вовлечь меня в работу, явствовало из того, настолько я изменялась, готовясь к его проповедям и помогая ему их писать: я не пропускала ни одной службы в силу любопытства видеть, испытывают ли присутствующие надлежащий подъем и достаточно ли они пленены (он был блестящим оратором). Закончилось это в тот день, когда в творческом пылу я не воспротивилась искушению выбрать навеянную гётевским «Фаустом» тему «Имя как звон и дым» вместо библейской цитаты: ему это стоило выговора папского посла, о котором он мне сообщил с явно расстроенным видом.

К счастью, Церковь и государство в Голландии полностью разделены, священнические обязанности моего друга также позволяли ему играть и другую важную для меня роль. Перед своим отъездом в Цюрих я не могла, покинув Церковь, добиться личного паспорта от русских властей. Он предложил достать сертификат о конфирмации благодаря одному из своих друзей, имевшему соответствующие полномочия в маленькой голландской деревушке. Мы оба были растроганы этой странной церемонией, на которой присутствовали окрестные крестьяне и которая происходила в одно из вос-

кресений в прекраснейшем из месяцев — мае. Нам нужно было сразу же после нее расстаться — то, чего я боялась как смерти. Моя мать, которая нас сопровождала, к счастью, не понимала ни слов священной церемонии, происходившей на голландском, ни слов конфирмации, произнесенных в конце, — почти что слов о браке: «Не бойся ничего, так как я тебя выбрал, я тебя назвал твоим именем, ты есть во мне». (Это действительно он дал мне мое имя, потому что не мог произнести его русский вариант — Леля или Ляля.)

Когда пойдешь через воды, я буду с тобой.
И когда через реки, они не затопят тебя.
И когда пойдешь сквозь огонь, он не поглотит тебя.

Этот изумительный поворот в истории любви моей юности, который я не могла в полной мере осознать в тот период, стал спустя годы сюжетом рассказа («Рут»), и хотя этот рассказ значительно отошел от реальности, которой еще недоставало опыта, несущие сваи этой истории — тайную идентичность между отношением к Богу и поведением влюбленной — я оставила в силе. Человек, которого я любила, был грубой правдой моего обожествления, и потому он, в точности как Добрый Бог, растворился из сферы моего обожания, не оставляя следов. Но в той мере, в какой подобные сбли-

жение и отдаление были неявными, мир Рут слегка окрашивался романтизмом, а не являлся следствием эволюции запретного для девушки с не вполне нормальным, заторможенным развитием.

Но именно из-за медлительности моего созревания неполный опыт любви хранил для меня несравнимое, уникальное очарование, сопряженное с ощущением неопровержимой подлинности, так что все это не нуждалось ни в каких проверках. Поэтому резкий конец этой истории был шагом в радости и свободе, в то время как в моем детстве утрата Бога, которая была очень похожим опытом, погружала меня в глубокую печаль; меня продолжала объединять с этим мужчиной связь, которая была первой в подлинном, реальном бытии, — связь с мужчиной, воля и опыт которого мне позволили найти саму себя, переполнили меня жизнью.

И, может быть, поэтому факт моего отъезда привел к необъяснимому выздоровлению, и то хрупкое состояние здоровья, которое я всегда за собой знала, стало с этого момента весьма незначительной заботой, которая меркла на фоне желания раздвинуть свой жизненный горизонт. Можно было сказать, что к этому моему мироощущению примешивался почти что оттенок вызова, бравады, когда во множестве моих поэм о любви, типичных для этого периода, я находила почти что лукавый тон для воспевания болезни. Такой, как в «Молитве к Смерти»:

В день, когда я буду на ложе смерти, —
Всего лишь угасшая искра, —
Ласка твоих столь любимых рук
Еще раз коснется моих волос.
Перед тем, как положат в землю
То, что должно в нее возвратиться,
Оставь на моих тобою любимых губах
Еще один поцелуй.
Но не забудь: в том столь чуждом гробу
Я лишь на вид отдыхаю,
Так как отныне в тебе моя жизнь воцарилась,
*И вся я всецело в тебе**.

Это удвоенное единство, которое делает земное исчезновение символом (и даже предпосылкой) более всеобъемлющего союза, недвусмысленно свидетельствует об аномальной трансформации, которую пережила эта любовь. Следует, между тем, отличать аномальное восприятие мною всего, что ведет к буржуазному браку со всеми его последствиями, — для которого я тогда не созрела — и аномалию, связанную с полотном религиозного опыта моего детства. Именно этот опыт изначально не допускал ориентации моего поведения влюбленной на привычный исход; мое чувство, простираясь за пределы бесконечно любимой персоны,

* Перевод Е. Герасимовой.

предназначалось почти религиозному символу, который этот человек представлял.

Эта история позволяет мне понять любовные процессы вообще в той мере, в какой Другой в любви, даже если он не представляет Бога, как здесь, преувеличен почти мистическим образом, чтобы стать символом всего чудесного. Любить в полном смысле слова — быть в состоянии предельного требования по отношению к Другому, и это неизбежный феномен, разворачивающий простое любовное опьянение в наиболее полную страсть; поэтому ждут те, кого любовь покинула, что она понемногу вернется к ним, так же как возвращаются другие нужды жизни. Существо, которое имело власть делать нас *верящими и любящими*, остается в самой глубине нас нашим Господином, даже если чуть позже оно стало бы противником.

И потому, даже когда любовь осуществляется абсолютно нормально, мы должны прощать друг друга, как и прощать друг другу чрезмерные ожидания, ведь каждый открыт к всевозможным выходам из рамок, не говоря уже о той проблеме, что верность и неверность смешиваются, спутываются удивительным образом и совершенно сбивают с толку. Внезапное насильственное вторжение мечты в реальность идет в ногу с усиленной требовательностью, но нельзя забывать, что на самом деле возлюбленный — это не более чем край, предел ре-

альности, который побуждает поэта писать произведение, содержание которого не имеет никакой связи с обычным функционированием этого объекта в реальном мире. Мы все — поэты, тем более что мы не являемся только рациональными существами; то, что в самом глубинном смысле делает нас *поэтами*, намного больше того, чем мы *становимся* в жизни, — это не вопрос оценочных критериев, но более глубокий вопрос, врастающий в самую сердцевину нашей человечности.

Любовь похожа на упражнения в плавании с мячом: мы действуем так, как если бы Другой сам по себе был морем, которое нас несет, и непотопляемым шаром, который держит нас на плаву. Поэтому он становится для нас одновременно и настолько же драгоценным и незыблемым, как наша исконная родина, и настолько же волнующим и смущающим, как бесконечность. Мы — осознавшая себя и вследствие этого распавшаяся на части беспредельность, мы должны поддерживать друг друга в этом неустойчивом состоянии, мы должны доказывать друг другу наше глубинное единство, и доказывать физически, телесно. Но это позитивное, материальное воплощение основополагающей слиянности, это вроде бы неопровержимое доказательство ее наличия — всего лишь громогласное утверждение, отнюдь не устраняющее замкнутости каждого в границах своей собственной личности.

Поэтому, когда наш дух и наша душа вовлечены в любовь, мы можем быть жертвами странных иллюзий парения, высвобождающих тело, переживаемых как бросок за предел самого себя. Таким образом, дискурсивно различают Эрос, нас сопровождающий, и эротизм, нас соблазняющий; сексуальность как общее место и любовь как одержимость, которой мы имеем тенденцию придавать ценность «мистического»; ибо она выражается в искренности нашего тела, с необходимостью не принимающего того, что для сознания является банальным, но удовлетворяющегося лишь наслаждением вдохновлять и насыщать; или, скорее, мы, несчастные создания, прославляем в экстазе нашего глобального бытия тайну собственных изначальных связей со всем существующим.

Тот совершенно непротиворечивый дар, каким является гармоничный эротизм, мог выпасть только на долю животных. Только одни они знают, в противоположность людям, чья любовь совершается и разрушается по прихоти конфликтов, свойственных встречи и разлуки, эту упорядоченность, которая манифестируется всецело естественно в чередовании периодов спаривания и периодов свободы. Мы же живем в неверности.

И все же по ту сторону всех противоречий и проблем любви наибольшее чувство женщины, толкающее ее преобразовать жизнь, концентриру-

ется в точке, где она сознательно хочет осуществить перерождение в себе детства человека, который является для нее желанным. Те, кто не может этого пережить, вне всяких сомнений, отрезаны от того, что является наиболее драгоценным в женщине. Я вспоминаю удивление тех, которым я признавалась, в ходе длинного разговора на эту тему, когда я уже была в летах: «Вы знаете, я никогда не рисковала пустить ребенка в мир...» И я уверена, что эта установка берет начало не в моей юности, но возникла в более зрелом возрасте, где дух уже измерен опытом таких вопросов. Я хорошо знала Доброго Бога раньше аиста: дети, пришедшие от Бога и вернувшиеся к Богу, если они умерли, — кто, если не Он, мог им *позволить родиться*? Я никоим образом не хочу сказать по этому поводу, что утрата Бога, несмотря на ее важность, вызвала такое потрясение, которое разрушило во мне мать. Нет, ничего из сказанного не касается меня лично. Но нужно как следует осознать, что рождение приобретает очень разный смысл в зависимости от того, рождается ли ребенок из Ничто или из Всего. Пустить ребенка в мир — дело настолько банальное и легко предусматриваемое, что, сопровождаемая чувствами и личными желаниями, эта простота помогает людям преодолеть чрезмерную щепетильность; ничто также не мешает им из этого извлечь весь тот поверхностный оптимизм, который сообщает нам

веру в то, что наши дети реализуют позднее все наши иллюзии на их счет, и который нас так напрасно обнадеживает. Но все потрясающее в порождении человеческого существа происходит не из моральных или вульгарных расчетов, но из того факта, что это переводит нас из индивидуального состояния в состояние творческое, что это радикально лишает нас всех личных определений, знаменуя самый творческий момент нашего существования. Если все наши действия являются продуктами неизбежных ошибок, в той мере, в какой мы уже расписались под иллюзорностью многого, что нас пленило, то встреча этих двух элементов черпает весь свой смысл из творческого акта в собственном смысле слова (во всех областях!). Ибо вопреки серьезности и добросовестности, с которыми родители делят между собой ответственность за потомство, они подавлены тяжестью тех событий, которые вмешиваются в нашу физическую и моральную ипостась, — наиболее глубоко и тайно от нас, — которые являются в то же время реальностью очень далекой и отделенной от всякого влияния и невидимо надвигаются на нас. Следовательно, нужно хорошо понимать, что среди всех верующих именно *мать* должна была быть наиболее религиозной: согласно матери, *единственное* место, где Бог должен сохранять свое присутствие, — чело того, кто ею рожден. Бог не может нисходить на землю ни

к одной Марии, которая была бы только женой Иосифа, не будучи в то же время воплощением девственной восприимчивости, для которой зарождение жизни есть последняя загадка всего существующего.

Несомненно, что в первую очередь именно Эрос сотворил самое лучшее в людях. Даже дружба представляет собой что-то вроде рисунка, сквозь который просвечивает более глубокое желание, которое мы носим в себе. Действительно, «бытие в качестве друга» указывает на несравненную и почти единственную связь, которая выдерживает наибольшие противоречия жизни: это значит быть здесь, где каждый из двух обретает Божественное и разделяет одиночество другого, чтобы его углубить до того пункта, в котором достигается обретение и понимание самого себя в другом. Быть Другом — это значит не давать другому каким бы то образом избавиться от одиночества, потерять хотя бы день без этого подлинного одиночества, более того, быть защитником *друг* от *друга*.

В мои самые юные годы многие существенные элементы того, что я только что описала, были, конечно, смешаны в моей первой большой любви и, возможно, потому я не боялась попыток — и напрасно! — перевести в слова свою мысль. В моей жизни это осталось в столь же эскизном состоянии, как и в моем тексте. Таким образом, в том, что каса-

ется трех форм осуществления любви (брак, материнство и чистая эротическая связь), должна признаться, я не удовлетворяю требованиям того, в чем некоторые видят жизненный успех. Но не это важно: главное, что то, что мы пытались осуществить, было живо, было плодотворно, чтобы с первого до последнего дня нашей жизни в нас пульсировала творческая сила, и тогда живущие после нас существа, продолжат нас.

Ситуация тут примерно такова: кто запускает руку в цветущий розовый куст, у того рука будет полна цветов; но сколько бы их ни было, их все же значительно меньше, чем может дать куст; и тем не менее их достаточно, чтобы ощутить полноту цветения. Но если мы не запускаем руку в куст только потому, что не в состоянии охватить его целиком, или если мы делаем вид, что у нас в руке *все* выросшие на нем розы, тогда он отцветет, не пробудив в нас переживаний. О том, как справились с любовными и жизненными проблемами в те годы мои ровесницы, я знаю далеко не все. Ведь уже тогда я, не отдавая себе отчета, относилась к этим проблемам совсем не так, как они. Прежде всего потому, вероятно, что «страхи и муки легкой печали» тех лет рано остались позади благодаря человеку, решающая встреча с которым помогла мне войти в жизнь, куда я взяла с собой скорее мальчишескую готовность к действию, чем женскую привязанность. Но

не только поэтому. А еще и потому, что мои сверстницы, в своем девичьем оптимизме, рисовали вещи, о которых мечтали, в розовом свете, главное для них было добиться исполнения желаемого. Я так не могла, или могла больше, чем они: у меня была некая изначальная опытность, которой наделили меня мои природные задатки. Под моими ногами была словно каменная непреложность, даже если им приходилось ступать на давно покрытую мхом, усеянную цветами почву. Быть может, я выразила это слишком однозначно, но я всегда с радостью и готовностью, без колебаний, принимала все, что давала мне жизнь.

Ибо жизнь — это было нечто желанное, чаемое, воспринимаемое всеми фибрами души. Но в ней не было чего-то могущественного, властного, решающего, того, что предвещало бы возвышение. Скорее, в ней было нечто равное мне, находившееся в той же недоступной пониманию экзистенциальной ситуации, что и я... Через периоды счастья и невзгод, надежд и желаний весь пыл юности течет навстречу жизни — это состояние души, жестко не направленное на какой-то определенный объект, и, как состояние влюбленности, оно тоже пытается выразить себя в стихах. Самым примечательным в этом смысле стихотворением я и хочу закончить эту главку — оно написано в Швейцарии,

в Цюрихе, после расставания с Россией. Это моя «Молитва к жизни»:

Естественно, что, как любят друга,
Я люблю тебя, жизнь-загадка, за то,
Что ты даришь мне ликование и слезы,
Что несешь мне страданье и счастье вслед за ним.

....
Быть и думать, столетьями длясь!
Сжимай же меня в своих крепких объятьях:
И если ты не можешь подарить мне счастья, —
Пусть так — мне останется твоя горечь.

(Как-то я по памяти записала его для Ницше, он положил его на музыку, и стихотворение благодаря слегка удлиненной стопе зазвучало торжественнее.)

НИЦШЕАНА

Фридрих Ницше в зеркале его творчества

«Mihi ipsi scripsi!» («Обращаю к самому себе») — не раз восклицал Ницше в своих письмах, говоря о каком-либо законченном им произведении. И это немало значит в устах первого стилиста нашего времени, человека, которому удавалось найти, можно сказать, исчерпывающее выражение не только для каждой мысли, но и для тончайших ее оттенков. Тому, кто вчитался в произведения Ницше, слова эти покажутся особенно знаменательными. Ведь, по сути, он и думал, и писал только для себя, и только самого себя описывал, превращая свое внутреннее «я» в отвлеченные мысли.

Если задача биографа заключается в том, чтобы объяснить мыслителя данными его личной жизни и характера, то это в очень высокой степени применимо к Ницше, ибо ни у кого другого внешняя

работа мысли и внутренний душевный мир не представляют такого полного единения. К нему наиболее применимо и то, что он сам говорит о философах вообще: все их теории нужно оценивать в применении к личным поступкам их создателей. Он выразил эту же мысль в следующих словах: «Постепенно я понял, чем до сих пор была всякая великая философия, — исповедью ее основателя и своего рода бессознательными, невольными мемуарами» («По ту сторону добра и зла»).

Этим я и руководствовалась в своем этюде о Ницше, набросок которого прочла ему в октябре 1882 года. К самому «учению Ницше» я еще тогда не приступала. Однако из года в год, по мере появления новых произведений Ницше, мой этюд о нем разрастался. Свою исключительную задачу я видела в характеристике основных черт духовного облика Ницше, которые обусловливали развитие его философских идей. Тот, кто стал бы оценивать Ницше как теоретика, взвешивать, что внес он в отвлеченную философскую науку, тот испытал бы разочарование и не постиг бы истинного источника силы Ницше. Значение этих идей не в их теоретической оригинальности, не в том, что может быть теоретически подтверждено или опровергнуто; все дело в той интимной силе, с которой личность обращается к личности, в том, что, по его собственно-

му выражению, может быть опровергаемо, но не может быть «похоронено».

Кто, с другой стороны, захочет руководствоваться лишь внешней жизнью Ницше для понимания его внутреннего мира, тот опять-таки будет держать в руках лишь пустую оболочку.

Ведь, в сущности, никаких внешних событий в его жизни не происходило. Все переживаемое им было столь глубоко внутренним, что могло находить выражение лишь в беседах с глазу на глаз и в идеях его произведений. Монологи в миниатюре, которые составляют, главным образом, его многотомные собрания афоризмов, образуют единый и весьма обширный корпус мемуаров, высвечивая его собственный духовный облик. Этот облик я и попытаюсь воспроизвести здесь, передавая события/картины его душевной жизни через его же философские изречения.

* * *

Хотя в последние годы о Ницше говорят больше, чем о каком-либо другом мыслителе, основные черты его духовного облика почти неизвестны. С тех пор как маленький, разрозненный кружок читателей, которые действительно понимали его, превратился в обширный круг почитателей, он стал достоянием масс, испытав при этом судьбу

всякого автора афоризмов. Отдельные его идеи, вырванные из контекста и допускающие вследствие этого самые разнообразные толкования, превратились в девизы для разных, порой противоположных идейных направлений и используются в ожесточенных спорах, в борьбе убеждений, в столкновениях различных партий, совершенно чуждых их автору. Конечно, этому обстоятельству он обязан своей быстрой славой, внезапным шумом, который поднялся вокруг его мирного имени, — но то истинно высокое, истинно самобытное, что таилось в нем, по этой причине оказалось незамеченным, непознанным, быть может, даже отошло в более глубокую тень, чем прежде. Многие, правда, еще превозносят его достаточно громко, со всей наивностью слепой веры, не знающей критики, но именно они и напоминают невольно о его собственных жестоких словах. В своем разочаровании он говорит: «Я прислушивался к отклику и услышал лишь похвалы» («По ту сторону добра и зла»). Едва ли кто-то пошел за ним, прочь от людей и повседневности, в одиночество своего внутреннего мира, едва ли хоть кто-нибудь сопутствовал этому недоступному, одинокому, замкнутому, странному духу, который мнил себя носителем чего-то безграничного и пал под бременем страшного безумия.

Порою кажется, что он стоит среди людей, ценивших его, как чуждый пришелец, как отшельник, который, только заблудившись, попал в их круг. С закутанной его фигуры никто не снял покрывала, и он стоит с жалобой своего «Заратустры» на устах: «Они все говорят обо мне, собравшись вечером вокруг огня, но никто не думает обо мне! Это та новая тишина, которую я познал: их шум расстилает плащ над моими мыслями».

* * *

Фридрих Вильгельм Ницше родился 15 октября 1844 года в семье пастора в Рёккене близ Лютцена. После окончания школы поступил на филологический факультет Боннского университета, а с 1865 года продолжил обучение в Лейпциге, куда последовал за своим учителем — профессором филологии Ричлем. Еще до получения диплома 24-летнего Ницше пригласили занять кафедру, он получил место ординарного профессора классической филологии. Лейпцигский университет дал ему докторскую степень без предварительного экзамена. Он также стал преподавать греческий в третьем (высшем) классе Базельского педагогиума, который представлял нечто среднее между гимназией и университетом. Ницше имел огромное влияние на учеников, обнаружив редкое умение привлекать

к себе молодые умы. Историк культуры Якоб Буркхардт говорил, что Базель никогда еще не имел такого учителя.

В 1870 году во время франко-прусской войны Ницше был добровольным санитаром. Вскоре после этого наступили первые грозные признаки головного страдания, выражавшиеся в периодических приступах сильных головных болей, тошноты и потере зрения. Если верить собственным уверениям Ницше, это страдание было наследственным, и отец его умер от него. «Несколько раз спасенный от смерти у самого ее порога и преследуемый страшными страданиями — так я живу изо дня в день; каждый день имеет свою историю болезни». Этими словами Ницше описывает в письме к одному приятелю то, что он испытывал на протяжении пятнадцати лет. В начале 1876 года из-за частых приступов он был вынужден уйти из педагогиума.

Зиму 1876/77 годов Ницше провел в мягком климате Сорренто, где жил в обществе нескольких друзей: из Рима приехала его давняя приятельница Мальвида фон Мейзенбух (автор известных «Мемуаров идеалистки»), из Восточной Пруссии прибыл доктор Пауль Рэ, с которым Ницше уже тогда соединяла крепкая дружба. Увы, пребывание на юге не облегчило страданий. Ницше был вынужден окончательно бросить преподавательскую деятель-

ность. С 1879 года он оставил и профессуру, вел в основном отшельническую жизнь, чаще в Италии, в Генуе, иногда — в швейцарских горах, в Энгадине, в маленькой деревушке Сильс-Мария. Пожалуй, внешняя сторона его жизни на этом и заканчивается, между тем как духовная его жизнь только тогда, в сущности, и началась.

Его наружность к тому времени приобрела наибольшую выразительность, в лице его светилось то, что он не высказывал, а таил в себе. Именно эта замкнутость, предчувствие затаенного одиночества и производило при первой встрече сильное впечатление. При поверхностном взгляде внешность эта не представляла ничего особенного, с беспечной легкостью можно было пройти мимо этого человека среднего роста, в крайне простой, но аккуратной одежде, со спокойными чертами лица и гладко зачесанными назад каштановыми волосами. Тонкие, выразительные линии рта были почти совсем прикрыты большими, начесанными вперед усами. Смеялся он тихо, тихой была и манера говорить; осторожная, задумчивая походка и слегка сутуловатые плечи. Трудно представить себе эту фигуру среди толпы — она носила отпечаток обособленности, уединенности. В высшей степени прекрасны и изящны были руки Ницше, невольно привлекавшие к себе взгляд; он сам полагал, что они выдают силу его ума. «Бывают люди, — писал он, — которые

неизбежно обнаруживают свой ум, как бы они ни увертывались и ни прятались, закрывая предательские глаза руками (как будто рука не может быть предательской!)» («По ту сторону добра и зла»)*.

Истинно предательскими в этом смысле были и его глаза. Хотя он был наполовину слеп, глаза его не щурились, не вглядывались со свойственной близоруким людям пристальностью и невольной назойливостью; они скорее глядели стражами и хранителями собственных сокровищ, немых тайн, которых не должен касаться ничей непосвященный взор. Слабость зрения придавала его чертам особого рода обаяние: вместо того чтобы отражать меняющиеся внешние впечатления, они выдавали только то, что прошло раньше через его внутренний мир. Глаза его глядели внутрь и в то же время, минуя близлежащие предметы, куда-то вдаль, или, вернее, они глядели внутрь, как бы в безграничную даль. Ведь, в сущности, вся его философия была поиском, изыскиванием в человеческой душе неведомых миров, «неисчерпанных возможностей» («По ту сторону добра и зла»), которые он создавал и пересоздавал. Иногда во время какой-нибудь волнующей его беседы с глазу

* Такое же значение он придавал своим необычайно маленьким и изящным ушам, о которых он говорил, что это настоящие уши для того, чтобы «слушать неслыханное».

на глаз он становился совершенно самим собою, и тогда в глазах его вспыхивал и вновь куда-то исчезал поражающий блеск; в угнетенном состоянии из глаз его мрачно струилось одиночество, высвечиваясь как бы из таинственных глубин — глубин, в которых он постоянно оставался один, делить которые не мог ни с кем и пред силой которых ему самому становилось жутко, — пока глубины эти не поглотили, наконец, и его дух.

Такое же впечатление чего-то скрытого, затаенного, производило и обращение Ницше. В обыденной жизни он отличался большой вежливостью, мягкостью, ровностью характера, ему нравились изящные манеры. Но во всем этом сказывалась его любовь к притворству, к завуалированности, к маскам, оберегающим внутреннюю жизнь, которую он почти никогда не раскрывал.

Я помню, при первой моей встрече с Ницше, это было весной, в церкви Святого Петра в Риме, его намеренная церемонность меня удивила и ввела в заблуждение. Но недолго обманывал относительно самого себя этот одинокий человек: он неумело носил свою маску, наверное, так, как носит обычное платье горожанина пришедший с горных высот или из пустыни человек. Ницше сам сформулировал это, написав: «Относительно всего, что человек позволяет видеть в себе, можно спросить: что оно должно собою скрывать? От чего должно

оно отвлекать взор? Какой предрассудок должно оно задеть? И затем еще: как далеко идет тонкость этого притворства? В чем человек выдает себя при этом?»

По мере того как росло в нем чувство уединения, все, обращенное к внешнему миру, становилось притворством — обманчивым покрывалом, которое ткала вокруг себя глубочайшая страсть одиночества, как бы временной внешней оболочкой, видимой для человеческого глаза. «Люди, глубоко думающие, кажутся себе актерами в отношениях с другими людьми, ибо для того, чтобы быть понятыми, они должны надеть на себя внешний покров» («Человеческое, слишком человеческое»). Можно сказать, что идеи Ницше подобны «коже, которая кое-что выдает, но гораздо больше таит» («По ту сторону добра и зла»); «потому что, — говорит он, — нужно или скрывать свои мысли, или скрывать себя за своими мыслями» («Человеческое, слишком человеческое»). Он находит прекрасное определение для самого себя, когда говорит о людях, «скрывающихся под мантиями света», — о тех, которые прикрываются покровом доступных мыслей.

«Все, что глубоко, любит маски... Всякий глубокий ум нуждается в маске: скажу более, — у каждого высокого ума постоянно образуется маска:

— Странник, это ты?.. Отдохни здесь... Оправься!.. Что послужит тебе отдохновением?..

— Отдохновением? Отдохновением? О, любопытный, что ты говоришь?! Но дай мне, прошу тебя...

— Что? Что? назови!

— Еще одну маску! Вторую маску!» («По ту сторону добра и зла»).

И в той степени, в какой его уединенность и самоуглубление становятся все сосредоточеннее, значение каждой новой маскировки делается все глубже. Истинная сущность прячется за формой выражения, внутренняя — за усвоенной маской. Уже в «Страннике и его тени» он указывает на «маску посредственности». «Посредственность, — говорит он, — одна из самых счастливых масок, которую может надеть высший ум, потому что в ней толпа, то есть именно средние люди, не станет подозревать притворства, а между тем он наденет ее ради самих людей, чтобы их не раздражать, нередко даже из сострадания и доброты». От этой маски невинности и незлобивости Ницше доходит, варьируя формы притворства, до маски ужаса, за которой скрывается нечто еще более ужасающее: «иногда даже глупость делается маской рокового, слишком уверенного в себе знания» («По ту сторону добра и зла»). В конце концов он приходит к обманчивому образу богоподобно смеющегося

и в нем стремится замаскировать скорбь красотой. Таким образом, в своей философской мистике последнего периода Ницше постепенно погружается в то последнее для себя уединение, в ту тишину, куда мы уже не в силах последовать за ним; с нами остаются только, как символы и указания, смеющиеся маски его идей и толкований, в то время как сам автор уже стал для нас тем, кем он сам назвал себя в одном из писем: «Навеки утраченный» (8 июля 1881 года, Сильс-Мария).

Чувство внутреннего уединения, одиночества составляет во всех блужданиях Ницше неизменную раму, из которой глядит на нас его образ. Как бы он ни маскировался, куда бы он ни пошел, всегда он носит с собой «свою пустыню и святой неприступный рубеж». Он пишет своему другу: «Одиночество все более кажется мне и целительным средством, и естественной потребностью, и именно полное одиночество. Нужно уметь достигнуть того состояния, в котором мы можем создать лучшее, на что мы способны, и нужно принести для этого много жертв» (31 октября 1880 года, Италия).

* * *

Страдания и одиночество — таковы два главных жизненных начала в духовном развитии Ницше, и они все сильнее сказываются по мере прибли-

жения конца. И до самого конца они сохраняют странную двойственность, делающую их одновременно и внешней судьбой, и психически обоснованной потребностью внутреннего мира. Его физическое страдание, не менее его замкнутости и жажды уединения, отражает и символизирует нечто сокровенное, и притом с такой силой и непосредственностью, что он воспринял это страдание в своей внешней жизни как ниспосланного ему верного друга и сопутчика. Так, он писал однажды следующее, выражая свое соболезнование горю другого человека (в конце августа 1881 года из Сильс-Марии): «Мне всегда тяжело слышать, что Вы страдаете, что Вам чего-нибудь недостает или Вы кого-нибудь утратили: ведь у меня самого страдания и лишения составляют необходимую часть *всего* и не составляют, как для Вас, лишнего и бессмысленного в мироздании».

То же выражается и в отдельных разбросанных по его произведениям афоризмах о *значении страданий для познания*.

Как телесные страдания были предлогом для внешнего уединения, так в его психических страданиях следует искать одну из самых глубоких причин его сильно обостренного индивидуализма, его резкого подчеркивания слова «отдельный» в смысле «одинокий». Понимание отдельности человека у Ницше таит в себе историю болезни

и не идет в сравнение ни с каким общим индивидуализмом: содержание его обозначает не «удовлетворение самим собой», а, скорее, «претерпевание самого себя». Следя за мучительными подъемами и падениями в его душевной жизни, мы читаем историю стольких же насилий над самим собой, и длинная, мучительная, геройская борьба таится за отважными словами Ницше: «Этот мыслитель не нуждается ни в ком, кто бы опровергал его; он сам удовлетворяет себя в этом отношении!»

Он говорит о влиянии настроений больного и выздоравливающего на ход мыслей и следит за тончайшими переходами таких настроений вплоть до самых высоких духовных их проявлений. Периодически возвращающиеся заболевания, подобные его собственным, постоянно отделяют один период жизни от другого, и тем самым один период мысли от другого. Эта двойственность создает впечатление и сознание двух сущностей. Благодаря ей все бытие обновляется каждый раз, приобретает для духа «новый вкус», как он метко выражается, и создает совершенно новое отношение даже к самому привычному и будничному. Все получает какую-то свежесть и как бы покрывается светлой росой утренней красоты, потому что была НОЧЬ, отделяющая его от предыдущего дня. Таким образом, каждое выздоровление становится палингене-

зисом самого себя и вместе с тем жизни вокруг — и тогда снова скорбь «поглощена победой».

Только внутренняя потребность его натуры, только мучительная жажда выздоровления приводила Ницше к новым идеям. Но стоило ему отразить себя в них, ассимилировать их своей собственной силой, как его охватывала новая горячка, тревожно толкающая избыток его внутренней энергии, который, в конце концов, направлял жало против него самого, делая его больным самим собою. «Только избыток силы есть доказательство силы», — сказал Ницше в предисловии к «Сумеркам богов». В этом излишке сила его сама создает себе страдания, изводит себя в мучительной борьбе, возбуждает себя к мукам и потрясениям, которыми обусловливается творчество духа*.

С гордым восклицанием: «что не убивает меня, то делает меня сильнее!» («Сумерки богов») он истязает себя не до полного изнеможения, не до смерти, а как бы нанося себе болезненные раны, в которых он так нуждался. Этот *поиск страдания* проходит через всю деятельность Ницше, образуя истинный *источник его духовной жизни*. Лучше все-

* «Может ли влечение к жестокому, страшному, злому, загадочному исходить из полноты, даже избытка здоровья?.. Бывают ли — вопрос для психиатров — неврастеники здоровья?» («Опыт самокритики» к новому изданию «Рождения трагедии, или Эллинство и пессимизм»).

го это выразилось в следующих словах: «Дух есть жизнь, которая сама же наносит жизни раны: и ее собственные страдания увеличивают ее понимание, — знали ли вы уже это раньше? И счастье духа заключается в том, чтобы быть помазанным и обреченным на заклание, — знали ли вы уже это?.. Вы знаете только искры духа: но вы не видите, что он в то же время и наковальня, и не видите беспощадность молота!» («Так говорил Заратустра»).

«Упругость души в несчастии, ее ужас при виде великой гибели, ее изобретательность и мужество в том, как она носит горе, смиряется и извлекает из несчастия всю его пользу, и, наконец, все, что ей дано — глубина, таинственность, притворство, ум, хитрость, величие, — разве это дано ей не среди скорбей, не в школе великого страдания?» («По ту сторону добра и зла»). Ницше всякий раз нужно, чтобы душа пламенела для того, чтобы получить ясность и яркий свет познания, но пламень этот никогда не должен превращаться в благотворную теплоту, а должен ранить сжигающими и сверкающими огнями.

Эта необыкновенная способность уживаться заново с самым тяжелым насилием над собой, осваиваться с каждым новым пониманием вещей существовала как бы для того, чтобы разлука со вновь приобретенным делалась с каждым разом все более потрясающей. «Я иду! Сожги свою хижину и иди

мне навстречу!» — повелевает ему дух, и упрямой рукой он вновь и вновь лишает себя крова и идет в темницу, навстречу приключениям, с жалобой на устах: «Я должен снова подняться на ноги, на усталые, израненные ноги, но я вынужден это сделать, и на самое прекрасное, не имевшее силы удержать меня, я оглядываюсь злобным взором — именно потому, что оно не смогло удержать меня!» («Веселая наука»). Как только ему становилось отрадно среди какого-нибудь миросозерцания, на нем самом исполнялось его же пророчество: «Кто достиг своего идеала, тот тем самым и перешагнул через него»(«По ту сторону добра и зла»).*

Перемены воззрений, склонность к метаморфозам лежат в самой глубине философии Ницше и как бы образуют лейтмотив его системы познания. Не без причин называет он себя в заключительной песне в «По ту сторону добра и зла» «борцом, который слишком часто побеждал самого себя, — слишком часто противился собственной силе — и собственной победой изранен и стеснен».

По своей героичности эта готовность Ницше жертвовать убеждениями положительно заменяет

* «В один прекрасный день мы достигаем своей цели и тогда с гордостью указываем на то, какой мы совершили для этого длинный путь. Но мы зашли уже так далеко, что повсюду мним себя дома» («Веселая наука»).

в душе Ницше *стойкость убеждений* («Убеждения более опасные враги истины, чем ложь»). «Мы бы не дали себя сжечь за свои убеждения, — сказано в «Страннике и его тени», — мы не настолько уверены в них. Но, быть может, мы пошли бы на костер за свободу иметь мнения и иметь право менять их». В «Утренней заре» этот взгляд отражен в следующих прекрасных словах: «Никогда ничего не утаивать, не скрывать от себя того, что может быть сказано против твоей идеи. Это ты должен обещать самому себе! Это первый долг честного мыслителя. Нужно каждый день вести крестовый поход против самого себя. Победа и завоевание крепости уже касаются не тебя, а истины — но и твое поражение не должно смущать тебя!» Заглавием к этим мыслям служат слова: «насколько мыслитель любит своего врага». Но эта любовь к врагу исходит из смутного предчувствия, что во враге скрывается, быть может, будущий союзник и что только побежденного ждут новые победы: она исходит из предчувствия, что однообразный мучительный процесс внутренних метаморфоз составляет необходимое условие всякого творчества. «Дух спасает нас от полного нетления и превращения в обгоревший уголь». «Спасаясь от огня, мы шествуем, побуждаемые духом, от мнения к мнению, — как *благородные предатели* всего на свете». «Мы *должны* стать предателями, совершать измены, покидать свои идеалы» («Чело-

веческое, слишком человеческое»). Этот одинокий человек должен был умножаться, распадаться на множество мыслителей по мере того, как он замыкался в самом себе; только таким образом он мог жить духовной жизнью. Влечение к насилию над самим собой было своего рода стремлением к самосохранению; только погружаясь во все новые муки, он спасался от своих страданий. «Я неуязвим только в моей пяте!.. И только там, где есть гробы, возможно воскресение!.. Так пел Заратустра» — «тот, которому жизнь однажды открыла следующую тайну: „смотри, — сказала она, — я — то, что должно быть всегда побеждаемо“»*.

Богатства Ницше слишком велики, чтобы он мог выстроить их в определенной иерархии и по-

* В силу этого влечения Ницше превращался больше, чем сам того желал, в «Дон-Жуане познания», которого он характеризовал следующим образом: «он умен, предприимчив и с наслаждением заигрывает с истиной, охотится за ней, преследуя ее до самых высоких и далеких звезд познания! До тех пор, пока уже ничего не остается, за чем бы охотиться, кроме доставляющего неизбежно страдание. Таким образом, ему хочется, в конце концов, познать ад — это последнее увлекающее его познание. Быть может, оно тоже разочарует его, как все, что познано! И тогда пришлось бы ему стоять среди вечности, будучи прикованным к разочарованию и превратившись самому в каменного гостя, с жаждой вечерней трапезы познания, которая уже никогда более не выпадет на его долю! Ибо во всем мире предметов уже нет куска, который можно было бы предложить в пищу этому голодающему» («Утренняя заря»).

рядке: живость и сила каждого отдельного таланта и духовного влечения вели с необходимостью к непримиримому соперничеству всех талантов. В Ницше жили среди постоянных смут, рядом и тираня друг друга, музыкант с высоким дарованием, свободный мыслитель и поэт по природе. Ни о чем Ницше не думал так много и так глубоко, как об этой тайне своего существа: он различал две большие группы характеров — у одних различные побуждения и стремления гармонично сливаются и образуют одно здоровое целое, у других же они враждуют и теснят друг друга. Первую группу он сравнивал — в каждом отдельном индивидууме — с состоянием человечества в пастушеский период, предшествовавший расчленению на государства: как там отдельный человек проявляет свою индивидуальность и свое сознание силы лишь в замкнутом целом общины, так здесь отдельные влечения проявляются лишь в едином ансамбле личности. Натуры второй группы, напротив, живут в своем внутреннем мире, как жили бы люди в войне всех против всех; индивидуальная личность распадается на массу самовластных активных личностей. Это состояние может быть осилено лишь вмешательством извне более высокой власти, которая способна усмирять и господствовать над всем остальным. То, что в натурах первой группы происходит совершенно инстинктивно (то есть включение индиви-

дуального в целое), здесь должно быть сначала завоевано, отнято у тиранических индивидуальных влечений и стать беспощадной дисциплиной отдельных порывов*.

Исходя из этого пункта, Ницше видит возможность *самопризнания в целом только посредством страданий всего частного*. Здесь заключен, как в почке цветка, зародыш его позднейшего учения о «декадансе», основная идея которого — признание возможности высочайших взлетов и самого творчества лишь посредством постоянных страданий и ран. Так он постигает значение героического идеала. «Как создается геройство? Сочетанием наибольших страданий с высочайшей надеждой», — говорит он.

Мучительное сознание собственного несовершенства влекло его к этому идеалу и тирании над собой: «Наши недостатки — глаза, которыми мы можем увидеть идеал» («Человеческое, слишком человеческое»).

Я прибавляю к этому три афоризма, которые он однажды написал для меня и в которых его миросозерцание отразилось с особой резкостью:

«Противоположностью героического идеала является идеал гармоничного, всестороннего раз-

* «Необходимость побеждать инстинкты — такова формула декаданса; пока жизнь идет вверх, счастье инстинктивно», — говорит он в «Сумерках богов».

вития — прекрасный и крайне желательный контраст! Но это идеал только вполне хороших людей (например, Гете)»*.

Далее: «Героизм — это стремление к той цели, по отношению к которой сам человек уже совершенно не принимается во внимание. Героизм — добровольное согласие на абсолютное самоуничтожение».

И третий афоризм: «Люди, которые стремятся к величию, — обыкновенно дурные люди, это единственный для них способ *переносить самих себя»*. Слово «дурной», так же как выше слово «хороший», не употреблено здесь в обычном своем значении и вообще не выражает никакой оценки; оно только служит определением известного состояния души. Понятием «дурной» Ницше обозначает «внутреннюю войну» в человеческой душе, то, что впоследствии он называл «анархией инстинктов».

Он отличает гармоничную, или цельную, натуру от героической, или состоящей из противоположностей; эти натуры соответствуют типам деятель-

* Тут Ницше понимает Гете совершенно иначе, чем несколько лет спустя (в «Сумерках богов»). Здесь он еще видит в нем антипода своей собственной негармоничной натуры, а впоследствии усматривал в нем глубоко родственный дух, который не был гармоничен по природе, а создал сам свою гармонию, переделав себя и принеся в жертву свое прежнее «я».

ного и познающего человека, другими словами, типу его собственной души и диаметрально ей противоположной. Человеком деятельным он считает нераздельного и не знающего разлада, то есть человека с инстинктом прирожденного властелина. Если такой человек следует своему естественному развитию, его натура становится все увереннее в себе и обнаруживает свою сосредоточенную силу в здоровых поступках. Препятствия, которые ставит ему внешний мир, только еще более возбуждают его деятельность: ибо нет для него более естественного состояния, чем борьба с внешним миром, и ни в чем его здоровье не обнаруживается полнее, чем в умелом ведении борьбы. Все равно, велик или мал его ум: в том и другом случае он остается во власти этой свежей силы своей натуры и того, что ей необходимо и полезно. Он не противопоставляет в своих стремлениях самого себя своей природе, не разлагает ее, не идет по своим собственным следам.

Совершенно иным представляется познающий человек. Вместо того чтобы пытаться собрать все свои устремления в некое единстве, оберегающее и сохраняющее их, он дает им развиться в какие угодно стороны: чем шире область, которую они нацелены захватить, тем лучше, чем больше предметов, к которым они протягивают свои щупальца и которые они рассматривают, перебирают, слуша-

ют, тем полезнее это для его целей — для целей познания. Для него «жизнь становится средством познания», и он говорит, обращаясь к своим единомышленникам: «Будемте сами объектами экспериментов, живым материалом для опытов!» («Веселая наука»). Таким образом, он сам разрушает свое единство — чем многостороннее субъект, тем лучше:

«Резкий и мягкий, грубый и нежный, доверчивый и странный, грязный и чистый, соединение глупца и мудреца — я все это и хочу всем этим быть — и голубкой, и в то же время змеей и свиньей. Ибо мы, познающие, — говорит он, — должны быть благодарны Богу, дьяволу, овце и червю в нас... внешним и внутренним душам, глубину которых нелегко постичь, с их внешними и внутренними пространствами, до крайнего предела которых не смогут добежать ничьи ноги» («По ту сторону добра и зла»). Познающий имеет душу, «которая владеет самой высокой лестницей и может наиболее глубоко опуститься в землю, самую обширную душу, которая широко блуждает и бродит в себе самой, которая бежит от себя самой и нагоняет себя в самых далеких кругах; самую мудрую душу, которой безумие нашептывает сладкие речи, — наиболее любящую себя душу, в которой все имеет свое течение и истечение, свои приливы и отливы...» («Так говорил Заратустра»).

С такой душой человек обретает «тысячу ног и тысячу щупальцев» («По ту сторону добра и зла») и постоянно стремится убежать от самого себя и ввести себя в другое существо: «Когда, наконец, находишь самого себя, нужно уметь от времени до времени терять себя и потом опять находить. Конечно, это относится только к мыслителю: ему вредно быть всегда замкнутым в одной личности» («Странник и его тень»). То же самое говорят и его поэтичные строки: «Мне ненавистно вести самого себя! Я люблю, подобно лесным и морским животным, потерять себя на долгое время, задумчиво бродить в заманчивой чаще. Издалека, наконец, приманить себя домой и завлечь самого себя к себе!» («Веселая наука»).

Такая жизнь «в себе» становится тем менее воинственной по отношению к внешнему миру, чем более она полна войнами, победами, поражениями и завоеваниями среди своих собственных порывов. В одиночестве своего духовного самоуглубления и саморазвития она ищет скорее оболочку, которая бы оберегала ее от громких и наносящих раны событий внешнего мира. И без того внутренний мир полон страданий и ран. К этому типу познающего человека относится описание Ницше: «Вот человек, который постоянно испытывает необычайные вещи, видит, слышит, подозревает, надеется, мечтает; которого *его собственные мысли поражают и ра-*

нят, как нечто приходящее извне, как своего рода события и удары» («По ту сторону добра и зла»).

Взаимная вражда порывов в душе его не уничтожена, а скорее, напротив, усилилась. «И кто будет судить об основных влечениях человека по тому, действовали ли они как вдохновляющие духи, демоны или кобольды, тот найдет, что каждое из них хотело бы выставить именно себя конечной целью мироздания, владыкою всех прочих влечений. Ибо каждое влечение властолюбиво и старается философствовать в своем духе» («По ту сторону добра и зла»).

Именно поэтому «познание познающего свидетельствует о нем самом», то есть «о том, в каком отношении друг к другу стоят внутренние влечения его натуры» (Там же).

Я помню одно устное изречение Ницше, которое очень верно характеризует эту радость человека, познающего ширину и глубину своей натуры, — радость, порожденную тем, что его жизнь сделалась «экспериментом для познающего» («Веселая наука»). «Я подобен старому, несокрушимому замку, в котором есть много скрытых погребов и подвалов; в самые скрытые из подземных ходов я еще сам не пробирался, в самые глубокие подземелья еще не спускался. Разве они не находятся под всем построенным? Разве из своей глубины я не могу подняться до земной поверхности во всех направлени-

ях? Разве через всякий потайной ход мы не возвращаемся к самим себе?»

Таким образом, широта и сложность негармоничной, «лишенной стиля» натуры становятся громадным преимуществом: «если бы мы хотели и осмеливались создать архитектуру, соответствующую нашей душе, то нашим образцом был бы лабиринт!» («Утренняя заря»), не такой лабиринт, в котором душа теряет себя, но такой, из запутанности которого она находит путь к познанию. «Нужно носить еще в себе хаос, чтобы родить блуждающую звезду» — это изречение Заратустры относится к душе, которая родится для звездного существования, для света, как для своей истинной сущности, для своего апофеоза.

* * *

Из всех дарований Ницше нет ни одного, которое бы глубже и неразрывнее было связано со всем его духовным существом, чем его религиозный гений. В другое время, в другой период культуры он помешал бы этому пасторскому сыну стать мыслителем. Но среди влияний нашей эпохи его религиозный гений обратился на познание, и то, к чему он инстинктивно наиболее стремился как к естественному проявлению здоровья, находило удовлетворение лишь болезненным образом, то есть посред-

ством обращения на самого себя вместо обращения к жизненной силе, лежащей вне его и включающей его. Таким образом, он достиг полной противоположности того, к чему стремился: не высшего единства своего существа, а его глубочайшего раздвоения, не согласования всех побуждений и инстинктов в объединенном индивидууме, а разделения его на «dividuum».

Темный инстинкт, который в первый раз заставил Ницше порвать с духовной атмосферой, в которой он вырос, проснулся в нем очень рано. Чтобы достигнуть могущественного развития своего самосознания, дух его нуждался в борьбе, страданиях и потрясениях. Роковым образом нужно было вырвать его душу из того мирного состояния, в котором он естественно пребывал, проводя время в пасторском доме своих родителей, потому что его творческая сила глубинно зависела от волнения и экстаза всего его существа. Тут впервые в жизни Ницше проявляется *жажда страдания*. Но не перековал ли он эту извечную спутницу «декадентской натуры» в нечто совершенно новое?

«Среди мирных обстоятельств воинственный человек нападает на самого себя», заставляет себя уйти в новый, чуждый ему идейный мир, осуждает себя на вечное скитание в нем без отдыха и приюта. Но среди этих скитаний в Ницше живет непреодолимое влечение обратно, в утраченный рай

наивных верований, между тем как прогрессирующая мысль заставляет его уходить от него все дальше в противоположную сторону.

В разговоре о переменах, уже свершившихся в его духовной жизни, Ницше заметил однажды полушутливо: «Да, так начинается скитание, и оно продолжается — до каких пор? Когда все пройдено, куда тогда стремиться? Когда все комбинации, какие только возможны, исчерпаны, что тогда? Не пришлось ли бы опять вернуться к вере? Быть может, даже прийти к католической церкви?»

И мысль, таящаяся за этими словами, с ясностью проступила в том, что он прибавил уже в серьезном тоне: «Во всяком случае, круговое движение правдоподобнее остановки».

Образ *круга — вечных изменений среди вечного повторения* — является загадочным символом, таинственным знаком над входной дверью к его творчеству. Мы увидим, что философия Ницше в самом деле описывает круг, и возмужалый мыслитель возвращается в одном из своих самых глубоких позднейших произведений к тому, что он переживал в ранней юности. Импульс, влекущий его вперед, нанося раны и не давая мыслям возможности успокоиться, исходит из внутренней организации самой личности: как бы далеко ни уносилось течение мыслей, они все-таки связаны с теми же душевными процессами, которые всегда заставляют их сно-

ва вернуться обратно к доминирующим потребностям души. К развитию его философских идей применимы его же слова: «Посмотри на реку, которая, извиваясь, течет обратно к источнику».

Своей первой литературной игрушкой Ницше называет сочинение, написанное им в детстве, — «О происхождении зла». Он упоминал об этой работе в разговорах в доказательство того, что предавался философским мечтам еще среди филологической дисциплины школьных лет. Следя за Ницше при переходе его из детства к школьным годам и потом к долгому периоду филологической деятельности, ясно бросается в глаза, как развитие его протекало с самого начала под влиянием некоторого насилия над собой. Уже строгая филологическая школа должна была оказаться тисками для молодой пламенной натуры, творческие силы которой не получали при этом требуемой пищи. Но в еще большей степени это можно сказать о направлении его учителя Ричля. Для последнего главное значение и в отношении метода, и в отношении поставленных задач имели вопросы формы и внешние совпадения; внутреннее значение литературных памятников отступало на второй план. Ницше же впоследствии черпал все свои проблемы из мира внутреннего и готов был подчинить логику психологическим мотивам.

И все-таки именно здесь, среди этой строгой дисциплины и на этой каменистой почве, его дух так рано созрел. Целое ожерелье прекрасных филологических работ знаменует собой временной интервал между его студенческими годами и началом базельской профессуры. Весьма возможно, что слишком раннее проявление умственного богатства Ницше, беспрепятственный доступ к занятиям философией и искусством привели бы его с самого начала к той необузданности, к которой приближаются некоторые его последние произведения. Холодная же строгость филологической выучки в течение некоторого времени связывала и объединяла «расколотость его стремлений», налагая оковы на многое, что в нем дремало.

Но в то время, когда он всецело предавался изучению своей специальности, брошенные без внимания другие способности терзали его, причиняя глубокие страдания. Особенно непреодолимым было влечение к музыке, и он часто невольно внимал звукам в то время, когда хотел внимать мыслям. Жалобной песней эти звуки сопровождали его в течение долгих лет, пока головные боли не сделали невозможным всякое занятие музыкой.

Научный метод Ричля, который делает столь резким контраст между филологическими штудиями Ницше и его позднейшей философией, содействовал, однако, в одном определенном отношении

проявлению натуры Ницше, увеличивая и развивая его творческие наклонности. У Ричля было стремление к какой-то художественной законченности и виртуозной разработке научных вопросов, а возможность оной достигалась путем строгого ограничения задачи исследования и концентрирования на одном избранном пункте. У Ницше же потребность вносить художественную законченность в работу путем добровольного ограничения задачи была одной из основных черт его натуры — она была у него тесно связана с влечением переступать постоянно за пределы созданного им и отталкивать от себя достигнутое, как нечто завершенное и потому прошедшее. Для филолога такая смена задач и вопросов кажется вполне естественной. Характерное выражение Ницше «То, что выяснено, перестает нас интересовать» могло бы принадлежать филологу. Для последнего в самом деле разъясненный вопрос становится исчерпанным, не представляющим никакого дальнейшего интереса. Но внутренние причины частых перемен в идеях Ницше совсем иные, и потому в высшей степени интересно наблюдать, как противоположности филологического и философского образа мыслей здесь как будто соприкасаются и как Ницше в этой чуждой ему маске трезвой филологии, в этом крайнем духовном самоподчинении, проявляет свою внутреннюю самобытность.

Филолог не вкладывает в разрешение предстающей перед ним задачи своего внутреннего мира, не чувствует к ней душевной близости, не ассимилируется с ней, и лишь до тех пор соприкасается с ней, покуда это необходимо для того, чтобы найти решение. Для Ницше же заняться задачей, познать нечто значило прежде всего быть потрясенным. Проникнуться какой-нибудь истиной значило для него быть побежденным чем-то пережитым — «быть уничтоженным», как он это называл. Он принимал мысль, как покоряются судьбе. Той, что захватывает всего человека и заключает его в оковы: он *переживал*, а не просто передумывал мысль, и делал это с такой пламенной страстью, с таким безграничным проникновением, что истощал всего себя в ней, и подобно моменту судьбы, который отжил, мысль вновь отпадала от него. Только после отрезвления, которое естественно должно было следовать за каждым таким возбуждением, он позволял уже осиленной идее действовать на себя интеллектуально, только тогда он мог тихо и ясно проверить ее пытливым разумом. Его неудержимое влечение к переменам в области философского познания обуславливалось постоянной жаждой новых духовных ощущений, и потому полная ясность всегда была у него сопутствующим явлением пресыщения и истощения.

Но даже и в этом истощении его не оставляют сами *проблемы* духа, тяготят его лишь *решения*, которые в данный момент закрывают источник новых потрясений. Найденный исход был поэтому для Ницше каждый раз сигналом для *перемены идейного строя*, потому что только таким путем проблемы могли сохраняться, а решения обновляться. С истинной *ненавистью* преследовал он после того все, что влекло его к прежнему решению, что помогало ему в свое время найти его. Поскольку «то, что выяснено, перестает нас интересовать», Ницше, в сущности, не хочет найти окончательного решения какой бы то ни было задачи. То слово, которое, казалось бы, должно было выразить полное удовлетворение мысли, достигнувшей своей цели, обозначало для него трагедию его жизни. Он не хотел, чтобы волновавшие его проблемы духа когда-либо перестали касаться его, он хотел, чтобы они продолжали до глубины его потрясать, и потому он до некоторой степени не рад был решению, отнимавшему у него саму проблему: он набрасывался всякий раз на решение со всей проницательностью и преувеличенной утонченностью своего скептицизма и со злорадством заставлял его, упиваясь собственными страданиями и наносимым себе вредом, возвратить ему его проблемы. Поэтому одно становится с самого начала несомненным относительно Ницше — то, что

среди какого-нибудь миросозерцания, среди какой-нибудь идейной системы могло бы прочно увлечь эту пламенную натуру, что сделало бы невозможной новую метаморфозу, то должно до конца оставаться *необъяснимым* для него, должно противостоять энергии всех попыток к разрешению, должно истощать ум убийственными загадками, как бы распинать его загадками. Когда же, наконец, на этом пути вечных исканий потрясение его внутреннего мира в самом деле превысило возбуждаемую такими мерами силу разума, уже сделалось поздно для всякого отступления, но конечный результат затерялся тогда среди тьмы, страдания и тайны, в разгроме мыслей под напором эмоций, сомкнувшихся над ним подобно бурным морским волнам.

До конца идя по следу извилистых путей жизни Ницше, мы подходим к моменту, когда он, в ужасе перед последним разрешением, навсегда погружается в вечную мистическую загадку.

Умственное дарование Ницше отличается еще, кроме всего прочего, двумя качествами, которые в равной мере были пригодны и филологу, и позднейшему философу. Это была, во-первых, его гениальность в обращении с тончайшими оттенками мыслей и чувств, требующими чрезвычайно нежной и вместе с тем твердой руки, чтобы не быть стертыми или искаженными. Именно это, по мое-

му мнению, впоследствии делало его скорее очень *тонким*, чем великим психологом, или, вернее, великим в схватывании и отражении тонкостей. Характерно в этом отношении выражение, которое он однажды употребляет, говоря о предметах, как они представляются взору познающего: он называет их «филигранью внешних предметов».

С этой чертой связано влечение к исследованию скрытого и тайного, стремление вывести на свет затаенное — умение видеть во мраке и инстинктивный дар дополнять интуицией, чутьем пробелы, недоступные знанию. Значительная часть гениальности Ницше в этом именно и заключается. Каким-то таинственным образом эта чуткость к тонкому и обособленному, претерпевая странное превращение, расширяется в большое, свободное видение отношений целого, общей картины — здесь вступает в силу его высокий художественный дар. Служа задачам строгой филологической критики, он развивал этот талант, добросовестно вычитывая из древних текстов забытое и стертое временем. Но этим стремлением он уже выступал из области чисто научной. Путь же, на котором он очутился таким образом, привел его к самой замечательной из его филологических работ — к труду *«Об источниках Диогена Лаэрция»*.

Позднее в «Человеческом, слишком человеческом» ему доводится однажды упомянуть об ат-

мосфере своих штудий Диогена. Из его слов видно, как он сидел над уцелевшими развалинами прошлого, глубоко вживаясь в читаемое, воссоздавая воображением исчезнувшие образы в пробелах и искаженных частях оригинала, вставляя угаданное им в исправляемый текст и с восторгом созерцая оживающую на глазах картину эллинского духа. Он всматривается в сумрак тех времен, как в «мастерскую ваятеля известных типов». И он охвачен странным волнением, представляя себе, что там могли сохраниться задатки еще более высокого философского типа, такого, какой мог создать Платон, если бы он остался свободным от сократовских чар... Большое значение имел тот факт, что Ницше пришел к философии не путем изучения отвлеченных специальных теорий, а проникновением в философский смысл жизни во всей ее глубине. И если бы мы хотели обозначить цель, к которой стремился этот ненасытный ум в своих нескончаемых колебаниях, то мы не смогли бы найти более характерного определения для нее, чем «открытие новой, еще не открытой до сих пор возможности философской жизни».

Так этот небольшой чисто филологический трактат непосредственно предшествует его позднейшему творчеству, подобно маленькой, наполовину скрытой дверце, ведущей в обширное здание. И кто остановится на пороге и всмотрится вглубь,

тот не сможет без изумления подумать о великой силе, которая сложила сама себя здесь, камень за камнем, в одно стройное целое. Эта сила с безграничной расточительностью разукрасила каждую отдельную часть, расширила ее, забавляясь, бесчисленными побочными ходами и скрытыми закоулками, как бы готовясь строить лабиринт и все-таки продолжая с железной последовательностью двигаться по прямой линии, совершая свое дело. Занятия греческой древностью не только пробудили в Ницше сознание своего внутреннего устремления и первую мысль о цели своих сокровенных влечений, но они также указали ему дорогу, по которой он мог приблизиться к этой цели.

Это изменяет и углубляет в его глазах значение филологии, «которая хотя и не муза, и не грация, но, во всяком случае, посланница богов; и подобно тому, как музы спускались к печальным, измученным беотийским крестьянам, и она приходит в мир, полный мрачных картин и красок, полный глубоких неизлечимых страданий, и утешает рассказами о светлых божественных образах, живущих далеко в голубой, счастливой стране чудес».

Эти слова содержатся во вступительной лекции, произнесенной Ницше в Базельском университете, озаглавленной «Гомер и классическая филология» и напечатанной в небольшом количестве экземпляров (Базель, 1869) — для друзей. Два года спустя

появилась другая небольшая работа такого же характера — «Сократ и греческая трагедия», вошедшая почти целиком, лишь с некоторыми внешними изменениями в изложении, в большой философский труд Ницше «Рождение трагедии из духа музыки» (1892, Лейпциг, изд. Е. Фрича)*. Открывая книгу Ницше, мы сразу чувствуем влияние байрейтского пророка. Та очарованность, которая делала Ницше в течение многих лет последователем Вагнера, была порождена тем, что Вагнер хотел

* Эта книга возбудила при своем появлении сильное неодобрение в кругу филологов, поскольку автор осмелился в ней не только следовать учению ненавистного академическим кругам Артура Шопенгауэра, но и разделять эстетические взгляды столь же непризнанного в тот период «музыканта грядущих времен» Рихарда Вагнера. Молодой энтузиаст, филолог Ульрих фон Вилямовиц-Мелендорф, принадлежащий ныне к самым выдающимся представителям классической филологии, выступил (не особенно, впрочем, счастливым образом) глашатаем сектантской односторонности. Не отдавая ни в каком отношении справедливости книге Ницше, он напал на нее в брошюре «Философия будущего» с очень узкой, филологически-цеховой точки зрения. За Ницше вступились: во-первых, тот, кем его книга была незримо вдохновлена, — Рихард Вагнер, напечатавший в «Norddeusche Allgemeine Zeitung» от 23 июня 1872 года открытое письмо Фридриху Ницше, и затем Эрвин Роде, уже успевший явить блестящее доказательство своего знания греческой древности. В прекрасно написанном полемическом сочинении «Afterphilologie» он, став на почву, избранную противником Ницше, отражает все его нападки и обвинения.

воплотить в немецкой жизни тот же идеал художественной культуры, который Ницше находил осуществленным в греческой жизни. Метафизика Шопенгауэра ничего, в сущности, к этому не прибавляла, а только возвышала этот идеал до мистицизма, до недоступной метафизической высоты. Этот особый шопенгауэровский отпечаток чувствуется яснее всего при сравнении первой работы «Сократ и греческая трагедия» с тем, как она развита и дополнена в эпохальном ницшевском сочинении «Рождение трагедии из духа музыки». В этой книге Ницше стремится вывести все развитие искусства из взаимодействия двух противоположных « художественных импульсов природы»: он называет их по имени главных греческих богов — покровителей искусства вакхическим и аполлоническим. Под первым он понимает оргиастическое начало, выражающееся в смешении восторга и страдания, радости и ужаса, в забывающем весь мир упоении вакхических празднеств. В них уничтожены все обычные границы существования, и отдельная личность как бы сливается со всей природой — нарушен principium individuationis (им. падеж), «путь к прародительницам бытия, к внутреннему существу вещей лежит открытым». Искусство, в котором воплотилось это вакхическое начало, есть музыка. Противоположным ему является стремление к созиданию форм, воплощенное

в Аполлоне, боге пластического искусства. В нем сходится все гармонично ограниченное, свободное от диких порывов, полное мудрого спокойствия. Его следует понимать как высшее проявление, как божественное воплощение principii individuationis (род. падеж), «основу которого составляет личность, то есть сохранение границ личности, которая и есть в греческом смысле мерило вещей».

Много времени спустя, уже в конце своей деятельности, Ницше еще раз вернулся к этой мысли: все различные моменты своего развития и перемены миросозерцания он стал объяснять не как непосредственные проявления его духа, а некоторым образом как надетые на себя маски, «аполлонические образы», за которыми его вакхическая сущность в своем божественном превосходстве оставалась вечно одной и той же. Мы увидим, дойдя до этого момента в духовной жизни Ницше, какие причины создали этот самообман. Значение, которое Ницше придает вакхическому началу, очень характерно для всего его духовного склада: как филолог он искал своим толкованием вакхического культа новый путь к пониманию древности; как философ он положил это толкование в основу своего первого цельного миросозерцания, и после всех его позднейших исканий эта первая идея вновь воскресает в последнем периоде его творчества. Она, правда, изменилась, поскольку порвана связь

с метафизикой Шопенгауэра и Вагнера, но осталась верной себе в том, в чем с самого начала воплощались его самые сокровенные побуждения души, — изменилась же она постольку, поскольку отразила особенности последнего, самого одинокого и самого глубокого фазиса его духовной жизни. Причина ницшевской преданности этой первоначальной идее, невзирая на все пережитые им духовные метаморфозы, в том, что он усматривал в вакхическом начале нечто родственное себе: таинственное слияние скорби и восторга, нанесение себе ран и поклонение себе как божеству — ту высочайшую напряженность чувств, в которой все контрасты взаимно обусловливаются и взаимно поглощаются.

Самую резкую противоположность вакхическому началу и порожденному им искусству представляет чисто интеллектуальное, лишенное всякой интуиции и всякого экстаза направление, называемое Ницше сократовским. Начиная от Сократа, рационализм которого направлен был против коренных греческих инстинктов, стремясь обуздать их, «греческий эстетический вкус меняется в пользу диалектики», и начинается победное шествие теоретического начала, стремящегося проникнуть путем разума в смысл бытия и даже внести в него нужные поправки. Этому оптимизму положила конец только критика Канта, указавшая на границы

познавательной способности человека: она, по остроумному выражению Ницше, свела философию к «учению о воздержании», «которое не идет дальше порога и добросовестно отнимает у себя право входа». Этим, по убеждению Ницше, открыта была дорога к возрождению философии в учении Шопенгауэра: последний стал искать проникновения в неразгаданную сущность вещей и ее видоизменения на пути интуитивного познавания.

В промежуток между 1873–1876 годами Ницше издал четыре небольшие работы, проникнутые тем же духом и объединенные под общим заглавием «Несвоевременные размышления». Их назначением было действовать «против духа современности и тем самым на современность» и, как надеялся автор, «в пользу грядущего времени». Первая из четырех книжек носила название «Давид Штраус как учитель и писатель» и заключалась в уничтожающей критике прославившейся в то время книги «Старая и новая вера» и в энергичных нападках на одностороннюю рассудочность современного воспитания. Менее злободневной и намного более ценной мне представляется вторая, захватывающе интересная, книга «О пользе и вреде истории для жизни» — основная идея этого сочинения вновь воскреснет в последних произведениях Ницше. Слово «история» служит здесь синонимом понятия интеллектуальной жизни в противополож-

ность инстинктивной: познавание прошлого, знание бывшего в противоположность живой силе настоящего и новообразующегося. В книге поднимается вопрос, как подчинить знание жизни, и точка зрения автора определяется фразой: «Только поскольку история служит жизни, постольку она и нужна». А служит жизни она пока наряду с разлагающим и проникающим повсюду влиянием рассудочности остается еще неприкосновенной важнейшая душевная функция — *пластическая сила* человека, народа, культурной эпохи: так называет Ницше «силу своеобразно развиваться из своей сущности, перерабатывать прошлое и чужое, восстанавливать из своей сущности разбитые формы». Без этой способности в нас может образоваться хаос чуждых, доставшихся нам извне богатств, которых мы не в состоянии ни осилить, ни усвоить и многоликая мешанина которых пагубна для единства и органической цельности нашей личности. Мы становимся как бы театром постоянных битв, на арене которого враждуют самые разнообразные мысли, настроения, суждения; мы столь же страдаем от победы одних, как и от поражения других, не будучи в состоянии сделать наше «я» властелином их всех.

Здесь впервые виден намек на знаменитое учение Ницше о *декадансе*, играющее такую большую роль в его позднейших произведениях. И не без

основания это первое указание на опасности декаданса напоминает описанную нами раньше картину его собственного состояния. Здесь с очевидностью проступает психологическая основа его теории: она заключается в тайной муке, которую испытывал этот страстный дух под напором осаждающих его идей и новых течений мысли — при его феноменальной восприимчивости каждая мысль и каждое обретенное им знание воздействовало на его внутренний мир с такой императивной силой, что обилие борющихся между собой открытий духа грозило сломать замкнутые границы его душевного мира. Он сам говорит в предисловии к одной из своих книг: «Также не следует забывать, что факты, возбуждавшие во мне те мучительные ощущения, я черпал большей частью из своей внутренней жизни, и только для сравнения брал у других». То, что он находил в самом себе, превращалось в его глазах в общую опасность всей современной эпохи, и впоследствии даже возведено было им в опасность для всего человечества, взывающего к нему как к своему избавителю. Следствием этого обстоятельства является странная двойственность смысла, проникающая всю работу и сразу обращающая на себя внимание всякого, кто хорошо знает Ницше: то, что вызывает его опасения в современном настроении умов, существенно отличается от его собственной душевной проблемы, он же восстает совершенно

одинаково против обоих — вполне противоположных — явлений. В одном случае он ополчается против оскудения полной, богатой душевной жизни под расхолаживающим и парализующим влиянием одностороннего развития ума: «Современный человек тащит на себе громадную массу неперевариваемых камней познания, которые при случае болтаются у него в желудке, как говорится в сказке»; «Внутри появляется при этом, конечно, такое чувство, как у змеи, которая проглотила целого кролика и укладывается покорно на солнце, избегая всяких движений, кроме самых необходимых... Каждый, кто проходит мимо, выражает лишь одно желание — чтобы подобное „образование", то есть „переполнение знанием", не сделалось бы гибельным вследствие своей неудобоваримости». В другом же случае он восстает как раз против слишком сильного, волнующего и мятежного влияния теоретического элемента на психическую жизнь, против порожденной этим борьбы разрозненных диких влечений.

А между тем эти два явления так же различны, как душевное притупление и безумие. У самого Ницше наиболее отвлеченные мысли превращаются порой в эмоциональные вихри, которые увлекают его с нежданной и головокружительной силой. Пристально присматриваясь к одному из двух противоположных опасных проявлений интеллекту-

ального начала — к хаотической необузданности душевной жизни — Ницше обнаруживает в нем слияние двух опять-таки различных причин. Он имел в виду не только чисто интеллектуальные влияния, не только опасность рассудочного элемента для инстинктивного, но и унаследованные нами влияния давно прошедших времен, некогда вышедшие из интеллектуального источника, но продолжающие жить в нас в виде влечений и чувств. Современный человек носит в себе опасность, которая родилась вместе с ним, — «противоречивость инстинктов является наследием всех поздно родившихся, потому что родиться поздно значит — быть продуктом смешанных элементов».

Бороться против вреда, который может принести «история, понимаемая в таком смысле, можно только при помощи „внеисторического“». Под внеисторическим Ницше понимает возврат к бессознательному, к воле неведения, к тому, что замыкает горизонт и вне чего жизнь невозможна. «Все живое может быть здоровым, сильным и производительным только в пределах какого-нибудь горизонта. Внеисторическое подобно атмосфере, которая, окружая собой пространство, делает возможной жизнь... Правда, что только тем человек и заявляет себя человеком в истинном смысле слова, что рассуждает, сравнивает, различает, объединяет, то есть именно ограничивает внеисториче-

ский элемент — среди всеохватывающей облачной атмосферы прорывается светлый луч, то есть проявляется сила пользоваться прошлым для настоящего, обращая минувшее в историю; но от избытка исторического элемента человек перестает быть самим собой». Сила человека измеряется степенью его способности справляться с историей и побеждать ее, то есть силой присущего ему внеисторического начала. «Чем сильнее в своих основаниях внутренний мир человека, тем больше может он усвоить или воспринять из прошлого. Если представить себе самого могущественного, великого духовной силой человека, то отличительной чертой его будет то, что никакие границы исторического не остановят его, не нанесут вреда ему; все прошедшее, свое и чужое, он может привлечь к себе, вдохнуть в себя и как бы переработать в собственную плоть и кровь. То, что нельзя осилить, он сумеет забыть; оно не существует, горизонт замкнут и ничего уже не напоминает о том, что за его пределом существуют еще люди, страсти, учения, цели». Подобный человек занимается историей всеми тремя способами, какими ею вообще можно заниматься, но ни в одном из этих трех направлений не подчиняется ей: он рассматривает ее как историю памятников прошлого, останавливает взор на великих фигурах прошлых времен, усматривает их отношение к своему делу и своей воле, но не теряет

себя в них — они для него лишь вдохновляющие предшественники и товарищи. Он погружается также в археологическую историю, исследуя прошедшее как сферу своего собственного бытия в минувшем, как некто, посещающий места, где протекала его юность и где для него всякая подробность кажется ценной и значительной: каждую стену, ворота с возвышающейся над ними башней, здание городского совета, народный праздник — все это он воспринимает как разрисованный дневник своей юности и находит во всем этом самого себя, свою силу, свое трудолюбие, свои восторги, свой вкус, свои заблуждения и свои капризы. «Здесь можно было жить прежде, — говорит он себе, — потому что мы гибки и нас нельзя уничтожить за одну ночь». Так взирает он при помощи этого «мы» на бренное, прихотливое существование отдельных индивидуальностей и чувствует себя в роли духа домов, поколений и городов. Наконец, в-третьих, он изучает историю критически, чтобы разбивать прошедшее для созидания будущего, и для этого ему нужна большая жизненная сила, ибо если опасно сделаться мечтателем или собирателем, то еще опаснее остаться отрицателем. «Этот процесс всегда представляет опасность для самой жизни. Мы ведь все-таки — результат прежних существований, и невозможно совершенно оторвать себя от цепи... В лучшем случае мы достигаем про-

тиворечия между унаследованной и свойственной нам от рождения натурой и нашей познавательной способностью. Мы создаем новые привычки, новый инстинкт, новую натуру, под влиянием которой отмирает старая. Это как бы попытка создать себе a posteriori прошедшее, из которого человеку хотелось бы происходить в противоположность тому, из чего он происходит на самом деле. Иногда победа удается, и тогда получается странное утешение — знать, что и первая натура была когда-то второй, и что, одерживая победу, вторая натура становится тем самым первой».

Эти три манеры изучения истории можно применить к трем периодам развития самого Ницше, начиная с археологического, который относится к его филологической деятельности; затем идет период изучения памятников прошлого — Ницше становится тогда учеником великих людей; наконец, наступает последний, позитивный период, который можно назвать критическим. Когда же Ницше прошел и через эту последнюю фазу, все три точки зрения слились для него в одну, и к ней сводятся все заключенные в этом произведении мысли, резко и парадоксально выразившиеся в одной его фразе: «историческое должно быть подчинено индивидуальной жизни, непременным условием которой является внеисторическое начало». Согласно характеристике Ницше, индивидуальная

жизнь вмещает в себя и историческое, и внеисторическое начала: она восприняла наследие прошлого, и потому полнота ее опыта бесконечна; но, наследовав несметное богатство, она умеет сделать его плодотворным, ибо она в самом деле владеет им и властвует над ним, а не покоряется его парализующему волю изобилию как своему властителю. Такого рода наследник и потомок минувшего является в то же время зачинателем новой культуры — носитель прошлого — созидатель будущего: богатство, которое он не расходует щедрой рукой, принесет еще плоды грядущим временам. Он один из тех великих людей «не своего времени», что погружаются в самое глубокое прошлое, предвосхищают отдаленнейшее будущее, в своем же времени всегда остаются чужими, хотя именно через их посредство современность собирает и дает свои лучшие силы.

Здесь заключается первый намек на мысли, выраженные Ницше в последнем периоде его творчества: отдельная личность является духом всего человечества и одна в состоянии объяснить из центра современности смысл и назначение всего прошлого в его целостности как единой глыбы человеческого опыта, и тем самым и будущего как отдаленнейшего целого.

Корни этих воззрений заключаются в том, что, изучая разные культуры, Ницше «вживлял» их

в себя. Знание и переживание чего-нибудь было для него всегда одним и тем же, так что изучать греческую филологию значило для Ницше быть греком. Конечно, это должно было еще обострить мучившую его противоречивость инстинктов, обратившуюся теперь в противоречие античного и современного, но в то же время это давало средства для борьбы с внутренними противоречиями, давало возможность созидать будущее из прошедшего, минуя настоящее — из человека своего времени становиться потомком минувших культур и провозвестником новой.*

Двум таким людям «не своего времени», то есть представителям минувшего и грядущего, посвящены два последних этюда «Несвоевременных размышлений» Ницше: «Шопенгауэр как воспитатель» и «Рихард Вагнер в Байрейте». В обоих этих памятниках, воздвигнутых с величайшим воодушевлением двум светочам человечества, становится ясным, до какой степени создаваемый Ницше культ несвоевременного приходит в своем конечном развитии к культу гениальности. В гении человечество имеет не только своего воспитателя,

* Он откровенен в предисловии: «...и не нужно забывать, что я воспитанник более древних эпох, и главным образом греческой, и потому прихожу к таким несвоевременным понятиям о себе, сыне современности».

вождя и глашатая, но и свою истинную, исключительную цель. Представление о «великих отдельных личностях», ради которых существует прочее «фабричное производство» природы, составляет одну из основных идей Шопенгауэра, и Ницше от нее не отступается. В самой глубине его души было неустанное стремление познать низменно-эгоистическое начало человеческой природы до высоты таящегося в ней «священного эгоизма», «который заставляет нас служить самому высокому в нашей натуре»; и в то же время его привлекала оборотная сторона этой высшей цели человека — «уединенность» и «героизм».

В средней поре своего творчества Ницше отошел от этого понимания гениальности, потому что оно утратило для него свой метафизический фон, а только на нем «отдельная личность» могла выделиться в сверхчеловеческом величии как образ из высшего и подлинного мира. Но в культе гения скрывалось начало того, что Ницше создал в конце своего развития порывом гениального безумия. Взамен метафизического объяснения *позитивное, жизненное* значение гения вознеслось для него столь высоко над шопенгауэровским объяснением, что последнее сделалось лишь слабым соответствием его собственных понятий.

До тех пор пока культ гения оставался культом метафизического в человеческой натуре, он обни-

мал собой непрерывную цепь исключительных «отдельных личностей», равных между собой и равноценных по своему значению. Они не являются ступенями развития человечества, они «не продолжают собой какого-нибудь процесса, а живут без времени и одновременно», они образуют некоторым образом «мост через бурный поток бытия» — «один великан перекликается с другим через пустынные промежутки времени и, невзирая на своевольных шумящих карликов, которые копошатся у ног их, они продолжают свою величавую беседу». А так как именно это племя карликов определяет собой ход истории, как в череде ее событий, так и в ее законах, то несомненно одно: «цель человечества не в конечных результатах, а только в высших индивидуальностях, которых оно создает из своей среды».

Но и эти высшие индивидуальности выражают лишь то, что таится в глубине человеческой натуры как ее метафизическая основа, поэтому они отделяются от всей массы людей не столько *различием* своей сущности, сколько *обнажением* ее, своей божественной наготой; в противоположность ей человек толпы носит тысячу покровов поверх своей истинной сущности, и все эти покровы принадлежат внешней жизни и твердеют иногда до полной непроницаемости. «Если великий мыслитель презирает людей, то только за их леность: она превра-

щает их в фабричный товар... Человек, который не хочет принадлежать к толпе, должен только перестать быть небрежным в отношении самого себя». Поэтому преисполненное любви воспитание и участливое отношение ко всем является логичным результатом этой философии, для которой в глубоком смысле все люди равны, ибо в каждом она чтит метафизическое ядро. Таким образом, эта первоначальная теория бесконечно далека от позднейшего учения Ницше, возводящего в принцип рабство и тиранию.

Все учение Ницше в первый период его философского творчества сводится к четырем основным идеям, неуклонно занимавшим его; пусть их понимание и трактовка часто меняются и варьируются — непоколебима сама его приверженность этим темам: это идея вакхического, декаданс, несвоевременность и культ гения. Мы всегда заново находим эти идеи, как и отражающегося в них автора, и чем сильнее отражает он самого себя в своей философии, тем более определенной и характерной становится его философия. Если рассматривать его идеи в их постоянной смене и в их разнообразии, они покажутся почти необозримыми и слишком сложными, если же попытаться извлечь из них то, что остается неизменным среди всех колебаний, простота и ценность его основных задач покажется по-

разительной. «Всегда иной и всегда один и тот же!» — мог бы сказать про себя Ницше.

Вагнеровско-шопенгауэровское мировоззрение так глубоко отозвалось в нем, что впоследствии, после долгих исканий на иных стезях духа и уже исходя из совершенно противоположных направлений мысли, он опять приблизился к их основным идеям, и этот факт доказывает, насколько эти идеи шли навстречу всей его натуре, как непосредственно точно в них воплощалось то, что дремало в его душе. Перейдя от филологии к философии, он, конечно, почувствовал себя как узник, освобожденный от цепей. До того все его лучшие силы были скованы, теперь он мог вздохнуть, теперь все в нем стало свободным. Его художественные инстинкты блаженствовали в откровениях вагнеровской музыки; его глубокая склонность к религиозной и нравственной экзальтации находила в метафизическом толковании этого искусства постоянную пищу. Обширность и основательность его знаний преломилась здесь самым продуктивным образом: поскольку в Вагнере воплотился художественный гений, и он стал «искупающим спасителем», то на долю Ницше выпала роль познающего, роль философского посредника. Однако проникнутость этими идеями сама послужила поводом к полному развитию его художественных и религиозных склонностей, и в этом главное их значение для Ницше. То,

к чему он давно уже стремился, изучая жизнь древних философов, теперь осуществилось: мысль стала жизнью, познавание — соучастием в созидании новой культуры. В мышлении могли, как в фокусе, сосредоточиться все душевные силы: оно требовало всего человека. Ницше изливает охвативший его восторг освобождения в последних словах книги «Сократ и классическая филология»: «Чары этой борьбы — в том, что, кто наблюдает ее, тот должен в ней принять участие!»

И вместе с более свободным развитием каждого из его душевных влечений этот период дал Ницше полное удовлетворение еще одной глубокой, несколько женственной склонности — его тяги к поклонению, к обожанию (то, что он впоследствии мог избрать предметом этого поклонения только самого себя, пробуждало на самом деле в нем неизбывную горечь). В тот же период самым ценным для Ницше было все-таки личное отношение к Вагнеру, непосредственное преклонение перед ним. Его энтузиазм относился к личности, которая была Другим и в то же время воплощенным идеалом его собственной натуры. Счастье обладания такой верой накладывает на первые философские произведения Ницше отпечаток чего-то здорового, почти наивного и резко отличающегося от характера его позднейших произведений. Личность Вагнера и философия Шопенгауэра, из которой Вагнер ис-

ходил, как будто бы помогают Ницше понять самого себя.

С инстинктивной робостью он еще остерегается искусства сознательно обращать свое «я» в «объект и предмет экспериментов для познающего» — того искусства, которое впоследствии сделало его столь великим и столь больным. «Как может человек знать себя? Он — нечто весьма темное и скрытое, и если заяц имеет семь шкур, то человек может семь раз по семидесяти покровов снимать с себя и все-таки не сможет сказать: „это уже ты, а не скорлупа твоя“. К тому же опасно и мучительно подкапываться таким образом под самого себя и насильственно пробивать себе кратчайший путь в рудники своей души. Как легко можно при этом повредить себе так, что никакой врач уже не сможет потом помочь». И потому он обращается к молодежи, которая ищет проникновения в собственную душу, с такими словами: «что привлекало твою душу, что властвовало над ней и приносило вместе с тем счастье? Представь себе этот ряд предметов, которым ты поклонялся, и, быть может, ты усмотришь в них закон, основной закон своего существа.

Сравни эти предметы, и ты увидишь, что они образуют лестницу, по которой ты поднялся на высоту твоего собственного „я“, ибо твоя истинная

сущность лежит не глубоко в тебе, а недосягаемо высоко над тобой...»

С откровенностью, совершенно исчезнувшей у него впоследствии, он излагает мотивы, которые с самого начала возбуждали в нем страстное стремление к подобному апостольству, мечту иметь «руководителя и учителя»: «мне хочется остановиться несколько на желании, которое в молодости часто и сильно являлось у меня. Я надеялся в минуты радостных мечтаний, что судьба оградит меня от ужасной необходимости воспитывать себя самого и что в свое время я найду воспитателя в каком-нибудь философе — истинном философе, которому можно верить, не задумываясь, потому что ему можно доверять больше, чем самому себе». Интересно наблюдать, как он с этой целью стремится за мыслителем Шопенгауэром угадать идеального человека и как в своих отношениях с Вагнером исходит из глубокого родства их душ. В самом деле, описываемая им духовная природа Вагнера поражает почти полным тождеством с «многострунностью» его собственного душевного мира. «Каждая черта Вагнера уходит в безграничное; все стремящиеся проявить себя наклонности хотят — каждая — отделиться и найти для себя удовлетворение отдельно; и чем полнее их содержание, тем более они бушуют, тем враждебнее их столкновения», — пишет Ницше в работе «Рихард Вагнер в Байрейте».

Потом, когда Вагнер достигает «духовной и нравственной зрелости», эта «многострунность» сливается в единое в то же время каким-то странным образом «раскалывается в самой себе». «Природа его страшным образом упрощается и вся разбивается на два влечения или сферы. Внизу бушует дикая воля в бурном потоке, и повсюду, на всех дорогах, во всех лощинах и пещерах стремится к свету, рвется проявить силу. Весь поток устремляется то в одну, то в другую долину и пробивается в самые темные лощины: во мраке этого подземного учения появляется в высоте звезда... Мы бросаем взор в другую сферу Вагнера. Это то настоящее и самое глубокое, что Вагнер переживает в самом себе и чтит как тайну, — понимание тождественности обеих сфер своего существования: творческой, светлой, невинной сферы так же, как и темной, неукротимой, деспотической... В отношении обеих глубочайших сил друг к другу, в их покорности одна другой, лежало непременное условие, делавшее его самим собой и вполне цельной личностью».

В конце работы Ницше старался постигнуть музыку Вагнера из особенностей столь родственной ему натуры и рассматривал музыкальный гений Вагнера как отражение его душевной жизни:

«Над всеми звучащими индивидуумами и борьбой их страстей, над всем хаосом противоречий не-

сется могущественный симфонический ум, который постоянно проповедует мир из недр войны... Вагнер никогда не бывает более Вагнером, чем тогда, когда трудности удесятеряются и он может среди грандиозных условий действовать как повелитель — заставить бурные протестующие звуки смириться в простые ритмы, провести одну волю среди ошеломляющей массы требований и притязаний».

* * *

Общение Рихарда Вагнера и Ницше обнаружило уникальную духовную близость их натур, это было в подлинном смысле пиршество духа. Но, как это всякий раз случается с Ницше, едва только он достиг высшего пункта, кульминации в этом периоде, как обозначился уже и первый шаг, который должен был увлечь его в противоположную сторону. Позже, в своей несправедливой брошюре «Казус Вагнер», он совершенно неверно передает все произошедшее, говоря: «высшим событием для меня было выздоровление. Вагнер был лишь одной из моих болезней». На самом деле болезненным его развитие стало лишь много позже его разрыва с Вагнером, можно даже сказать, что в синусоиде его состояний вагнеровский период был явственно пройденной им фазой здоровья. Однако нельзя не

отметить некоторой доли правды в его утверждении: эта правда в том, что он не достиг еще тогда истинной вершины самого себя, хотя и чувствовал себя в то время здоровым и счастливым.

Разрыву Ницше с Вагнером приписывали самые разнообразные причины: его объясняли то чисто идеальными побуждениями — непреодолимым стремлением к истине, то мотивами, которые он сам потом называл «человеческими, слишком человеческими». В действительности, оба эти мотива переплетались, подобно тому, как это было в первом периоде ницшевского развития в отношении вопросов религиозных. Именно то обстоятельство, что он нашел полное духовное довольство и душевный покой, что миросозерцание Вагнера мягко и гладко «облегало» его, «как здоровая кожа», — именно это и побуждало его поскорее сбросить с себя эту кожу, «избыток счастья», которым он вновь был «ранен». Только в этом добровольно избранном мученичестве дух его находил надежный оплот, позволявший вступить в борьбу со своим старым идеалом. Конечно, Ницше должен был почувствовать большое облегчение от сознания, что если он отказывается от возвышенного и прекрасного, то вместе с тем и освобождает себя от последних уз, — и все же это освобождение было в некотором роде лишением, и он не мог заставить себя не страдать от него.

Разрыв совершился окончательно и совершенно неожиданно для Вагнера в то время как последний, работая над своим Парсифалем, приближался к католическим идеям, между тем как Ницше очень круто перешел к позитивной философии англичан и французов. И это идейное разногласие не только интеллектуально разъединило их, но и разорвало интимную нить их отцовско-сыновней близости.

С этим периодом внешнего и внутреннего отдаления от Вагнера и от философии Шопенгауэра совпадает у Ницше время тяжелого физического состояния. Физически и нравственно он жил тогда среди бурь и страданий, приблизившись к порогу душевной и телесной смерти. Болезнь его проявилась в годы напряженной деятельности, слишком многосторонних и изнуряющих ментальных переживаний, слишком интенсивного интереса к искусству Вагнера и к музыке вообще. Точно так же и впоследствии последнее роковое проявление его мозгового страдания в конце 80-х годов последовало за периодом громадного творческого напряжения. Но пока он мог еще осиливать боли, страдания не влияли на его неутомимость и самосознание. Еще 12 мая 1878 года он писал бодрым и веселым тоном в одном письме из Базеля: «здоровье мое шаткое и внушает опасения, но мне так и хочется сказать: что мне за дело до моего здоровья!»

Однако уже 14 декабря 1878 года следуют указания на необходимость оставить кафедру: «мое состояние — истинная мука и преддверие ада, — этого я не могу отрицать. Вероятно, оно прекратится вместе с моими университетскими занятиями, может быть — с занятиями вообще...» И затем он продолжает, горько жалуясь: «ничего мне не помогает, боль слишком сильна — все говорит: выноси, откажись! Увы — и терпение наконец надоедает. Нужно быть бесконечно терпеливым для того, чтобы терпеть!»

Наконец, как бы примиренный с неизбежным, он пишет из Женевы 15 мая 1879 года: «Мне нехорошо, но я старый испытанный больной и буду дальше тащить свое бремя, хотя уже недолго, надеюсь!» Вскоре после этого он оставил профессуру, и его навсегда поглотило одиночество. Отказаться от своей преподавательской деятельности ему было тяжело, ведь это было, в сущности, отрешением от всякой дальнейшей специально научной работы: он сам называет себя «больным, который теперь почти слеп и может читать лишь какие-нибудь четверть часа, и то с сильными страданиями».

Ночь окутывает теперь Ницше. Его прежние идеалы, его здоровье, его работоспособность, его деятельность, — все, что давало его жизни свет, яркость и тепло, все одно за другим исчезало под развалинами. Началось для него *время тьмы*.

Сочинения Ницше, принадлежащие к этой поре, уже не почерпнуты им, как прежние, из избытка накопленного и приготовленного им материала; они рассказывают, скорее, о том, как он ориентируется среди окутывающей его мглы и ощупью идет вперед; они представляют мучительные, трудные, но, наконец, победные шаги к темной цели.

«Когда я один шел дальше, — говорит он много лет спустя об этом времени, — я весь дрожал: еще немного, и я сделался больным, более, чем больным, — уставшим от невыносимого разочарования во всем, чем мы, современные люди, можем еще вдохновляться...» Но не с жалобами на устах прокладывает он путь себе среди развалин. Особое достоинство произведений той поры заключается в том, что «страдающий и терпящий лишения говорит так, как будто бы он не был страдающим и терпящим лишения».

И опять он творит и открывает новое. Он спускается глубоко под мир развалин, подкапывается и добирается до их оснований и ищет привычным к темноте глазом скрытых сокровищ и тайн земных глубин. Подобно Трофонию, он лукаво всюду пробирается и из своей глубины объясняет то, что делается наверху, — разрешает загадки мира. Таким он нам является «среди своей подземной работы». В то время как привычные, обжитые и дорогие ему идеи манят его обратно, он, не защищаясь, отдается

идеям, по отношению к которым чувствует себя еще чужим и даже в глубине души противником. Можно даже сказать, что кажущаяся внутренняя несамостоятельность, с которой Ницше вначале отдается чужому образу мыслей, служит доказательством героической самобытности его духа.

Это нужно иметь в виду для справедливой оценки внезапного идейного переворота Ницше и для того, чтобы понять происхождение его первого позитивистского произведения, так странно и неожиданно вышедшего из его головы, точно Афина из Зевсовой. В 1876 году издано последнее из его «Несвоевременных размышлений», восторженная книжка «Рихард Вагнер в Байрейте», а уже зимой 1876/77 года составился его первый сборник афоризмов «Человеческое, слишком человеческое» — книга для свободных умов (посвящена памяти Вольтера, 100-летней годовщине со дня его смерти 30 мая 1778 года), с прибавлением отдельных изречений и мыслей. В этом сочинении так ясно отражается тогдашняя раздвоенность его мыслей, что оно состоит из двух совершенно противоположных составных частей: с одной стороны, мы видим несамостоятельного еще позитивиста, который не выдает своих новых идей за собственные, а только знакомит нас с тем, как он теперь себя чувствует, какая «новая кожа» теперь на нем; с другой стороны, мы видим прежнего борца и мученика Ницше, ко-

торый решился разорвать со своими прежними идеалами. В этой борьбе он обнаруживает потрясающую глубину оригинальной жизни идей благодаря рвению, с которым он борется против своего прежнего «я». Этим объясняется беспощадность и резкость нападок на Вагнера. Очень характерно для такой неожиданности переворота в идеях Ницше то, что и на этот раз «пусковым курком» новых воззрений послужили личные отношения. Так же как борьба против старого идеала сопровождается разрывом с Вагнером, так новый идейный мир воплотился для Ницше опять-таки в отдельной личности. Солнцем, вокруг которого вращалась новая система планет-идей, был Пауль Рэ.

Если в отношении Ницше к Рихарду Вагнеру сильнее всего проступало преклонение перед ним, то дружба с Рэ носила скорее характер духовного товарищества, которое не нарушалось даже тем обстоятельством, что друзья жили далеко друг от друга.

Чем глубже физическое страдание обрекало его на одиночество, чем уединеннее и «безлюднее» он вынужден был жить, тем с большей страстностью мечтал он о друге, который превратил бы его одиночество в чудесное «спарринг-партнерство» (Zweisamkeit): «десять раз на дню мне хочется обсуждать с Вами судьбы мира» (письмо из Базеля, декабрь 1878 года); «всегда в мыслях я связываю мое будущее с Вашим» (из Женевы, май 1879 го-

да). «От многих желаний я должен был отказаться, но ни за что не откажусь от желания жить с Вами вместе» (из Наумбурга, октябрь1879 года). Невыносимые боли и припадки, от которых страдал Ницше, будили в нем мысли о смерти, и это придавало каждому новому свиданию друзей особенно глубокое значение. Взгляды их в течение этих лет становились тем более общими, что им приходилось много работать совместно. Рэ доставлял Ницше большинство книг, в которых последний нуждался, и, щадя его глаза, читал ему вслух, когда они были вместе.

Дружба с Рэ была первоначальным источником позитивизма Ницше и его отрешения от прежнего идеализма. Большое значение имело для Ницше сочинение Рэ «О происхождении нравственных ощущений» (1877), которое сделалось на некоторое время позитивистским катехизисом Ницше. Влечение к позитивизму он почувствовал главным образом потому, что находил в нем ответ на поднятый в книге Рэ вопрос о происхождении нравственных понятий. Он самым тесным образом примкнул к последователям английской школы, которая, как известно, сводит все нравственные побуждения к пользе, привычке и забытым, но существовавшим прежде, утилитарным причинам.

В этом духе написана книга Ницше «Человеческое, слишком человеческое», представляющая,

как указывает само заглавие, беспощадную критику «человечности», того, что раньше он называл святым, вечным, сверх-человеческим. Чтобы видеть, с какой резкой односторонностью и преувеличением Ницше идет здесь против самого себя, стоит проследить за его теперешними взглядами относительно тех четырех пунктов, которые в его предыдущем философском периоде несли главную нагрузку: «вакхическое начало», понятия декаданса, «несвоевременного» и «культ гения». Прежнее место Диониса занимает теперь столь презираемый прежде Сократ; его Ницше признает охранителем храма новой истины. Эта победа сократического начала, рассудка и мудрого бесстрастия над началом вакхическим, то есть эскалацией страстей и самозабвенностью жизненного упоения, находит высшее свое выражение в следующем изречении Ницше: «Научный элемент в человеке представляет дальнейшее развитие художественного... художник, в сущности, отсталое существо... Чувство не последнее, не коренное в человеке, за чувствами стоят суждения и оценки, которые уже переходят к нам по наследству в форме чувства». Теория первостепенной роли разума разбивает прежний ницшевский культ гениальности: «О, как дешева слава гения! — говорит он теперь. — Как быстро воздвигается ему трон и преклонение перед ним входит в обычай. Люди все еще стоят на коленях перед си-

лой по старой рабской привычке, а между тем, если бы установить степени права на поклонение, то решающей была бы лишь степень силы разума» («Утренняя заря»). Стремление «разложить в спектр» чудо гениальности и сбросить гений с пьедестала с такой силой захватывает Ницше в этом периоде, потому что мысленно он относит это к гениальности Вагнера; в последнем периоде его деятельности столь же непреодолимым было его стремление говорить в защиту гениальности — на этот раз своей собственной — и окружать ее «северным сиянием» величия. Теперь же всякое, даже истинное величие кажется ему роковым, потому что оно стремится «подавить множество более слабых и хрупких сил и зародышей», между тем как более справедливо и желательно, чтобы жили не только великие натуры, но чтобы и более «слабым и нежным было бы достаточно воздуха и света». «Предпочтение величия — истинный предрассудок. Люди преувеличивают все большое и выдающееся. Крайности обращают на себя слишком много внимания, а между тем преклонение перед ними — признак более низкой культуры» («Человеческое, слишком человеческое»).

Единственно уместным критерием для определения разницы между людьми Ницше теперь признает лишь степень интеллектуального развития; *облагораживать* людей значит, по его мнению, раз-

вивать в них *понимание*. Даже то, что в этическом отношении признается дурным, оказывается в большинстве случаев результатом умственного недоразвития и грубости. «Многие действия, называемые дурными, в сущности, только глупы... Люди, способные на жестокость, в наше время являются, по сути, людьми прежних культурных ступеней». То, что кажется признаком жестокости и бессердечия, на деле является неспособностью верно определить степень вреда или страданий, причиняемых другим, в силу отсталости недостаточно тонко и многосторонне развитого мозга. Это люди упадка. Но чем развитее человек, тем более смягчается в нем первоначальная сила инстинктов и грубых страстей. «Добрые поступки — не что иное как очищенный вид дурных... Степень рассудительности решает, в какую сторону направится тот или другой человек. В известном отношении можно сказать, что теперь все поступки глупы, ибо теперешняя степень человеческого понимания, наверное, еще будет превзойдена, и тогда сделан будет первый опыт: можно ли *моральное* человечество превратить в *мудрое* человечество».

Позднейшая философия Ницше направлена против этого занижения инстинктивной жизни; напротив, он вознесет на пьедестал того, кто таит в себе полноту страстей и инстинктов, то есть в нынешней его терминологии «дурного» человека.

Но в тот период, который мы рассматриваем, он не понимал человеческого достоинства вне доброты и самопожертвования, поскольку только в них сказывается победа над животным прошлым человечества. Все человеческое величие он основывает на смягчении инстинктивного начала; высший человек возникает путем полного отрешения от животного начала, и его можно представить себе лишь отрицательным путем, как «не животного» (Nicht mehr Thier). Он — «рассуждающее и разумное существо» (Uber-Thier), в котором постепенно могут нарождаться новые привычки *не*-любви, *не*-ненависти, высшей созерцательности.

Но сверхчеловек (Uber-Mensch) как существо с положительными новыми и высшими качествами казался тогда Ницше чем-то совершенно фантастическим, и одно уже представление о нем было бы в его глазах лучшим доказательством человеческого тщеславия. «Желательным было бы существование более духовных созданий, чем люди, хотя бы для того, чтобы показать глубину комизма людей, которые считают себя целью мироздания и серьезно думают, что лишь мировая миссия достойна их» («Странник и его тень»). «Будущее исходит из прошлого — почему бы в этом вечном законе оказалось исключение? Долой эти сентиментальности!» («Утренняя заря»). Если бы человек мог узнать жизнь вполне, он бы «разочаровался в цен-

ности жизни; если бы ему удалось вместить в себя самосознание всего человечества, он бы проклял существование — ибо человечество не имеет *никаких* целей, и для человека нет ни опоры, ни утешения, а одно только отчаяние» («Человеческое, слишком человеческое»). Поэтому основной принцип новой жизни таков: «нужно жизнь устроить, имея в виду несомненное, доказанное, а не как прежде — далекое, неопределенное, туманное» («Странник и его тень»). Нужно опять сделаться «добрыми соседями ближайших вещей» и вместо того, чтобы витать в «несвоевременном», следует воплощать в себе высшие идеи собственного времени. Ибо вместо всяких фантастических целей человечество должно иметь перед глазами одну единственную великую цель — познание истины. «Движение к свету да будет твоим последним шагом, ликование познающего — твоим последним звуком». Возможно, что такое преобладание рассудочности уменьшит счастье и жизнеспособность человечества, что оно в известном смысле — признак «вырождения», но здесь с понятием о вырождении связано нечто необычайно высокое и благородное: «может быть, что эта страсть познания приведет человечество к погибели... но разве любовь и смерть не сестры? Мы все предпочитаем погибель человечества его регрессу» («Утренняя заря»). Такой «трагический исход познания» имеет

оправдание потому, что нет для познания слишком большой жертвы: «Fiat veritas, pereat vita!»* — в этих словах заключен весь тогдашний познавательный идеал Ницше. Еще незадолго до того он с величайшей горечью отвернулся бы от этих слов. И немного лет спустя он так же ожесточенно станет опровергать их. *Желание жить*, хотя бы ради жизни пришлось пожертвовать познанием — таково будет новое учение, которое Ницше противопоставит той жизненной усталости, которая достигает вершины в понимании бесцельности всего существующего.

Следя за идеями Ницше в этом периоде, мы видим, с каким внутренним насилием над собой он приходит ко все более и более резким выводам и какой борьбы ему это каждый раз стоит. Но именно вследствие контраста, в котором стоит этот путь по отношению к его внутренним потребностям и устремлениям, это познание истины сделалось для него идеалом, приобрело значение высшей, отличной от него самого и превосходящей его силы. Чинимое над собой насилие вызывало в нем восторженное, почти религиозное состояние духа и создавало возможность *внутреннего раздвоения*, в котором Ницше нуждался; это раздвоение дава-

* «Пусть свершится истина, хотя бы погибла жизнь» (*лат.*).

ло возможность познающему смотреть на свою собственную природу, на свои чувства и побуждения как на нечто, стоящее вне его.

История того, как Ницше развивал эти новые идеи и как он потом их оставил, является в значительной степени историей его внутренней жизни, его внутренней борьбы. Картина его душевного мира разворачивается перед нами во всех произведениях этой поры, начиная от стоившего ему многих страданий первенца «Человеческое, слишком человеческое» до проникнутой глубокой радостью книжки «Веселая наука», которая уже отчасти принадлежит к следующему периоду. В этой серии сборников афоризмов он хотел построить «идеал свободного духа», исследующего все области знания и жизни и, главным образом, полноту своих собственных идейных переживаний. Основное настроение, из которого вышла каждая из этих книг, отражается уже в самих заглавиях: заглавия у Ницше никогда не бывают случайными, безразличными или отвлеченными — это всегда символы актуального для него внутреннего настроения. Эмблема его одинокой духовной жизни в конце 70-х годов — «Странник и его тень»(1880): он из воина стал странником, который вместо прежних враждебных нападений на духовную родину занят теперь исследованием страны своего добровольного изгнания — он смотрит, годится ли каменистая по-

чва для возделывания, не найдется ли где-нибудь черноземного слоя. Бурный раздор с противником сменился теперь тишиной беседы с самим собой: отшельник прислушивается к своим собственным мыслям, как к разговору нескольких голосов, он живет в их обществе. Они еще кажутся ему угрюмыми, однообразными, поднимающимися так грозно и высоко, как тень в час заката. Но это скоро пройдет. То, что прежде было мыслью и бесцветной теорией, обретает теперь звучание и внешний облик, форму и жизнь. Таким всегда был внутренний ход усвоения им и пересоздания нового и непривычного: он вдыхал в него жизнь, делал его способным к полноте бытия.

По мере того как мысли, среди которых он живет, впитывают все богатство его натуры, по мере того как они постоянно проникаются всей его чудесной силой и воодушевлением, настроение его становится все более высоким и радостным. Чувствуется, что Ницше идет здесь шаг за шагом по пути к самому себе, начинает чувствовать себя как дома в своей новой «коже»; на душе у него действительно предвкушение странником очага после долгих скитаний. Он уже не стремится к одной и той же цели со своим товарищем Паулем Рэ, у него есть собственные цели. Это чувствуется даже по письмам, в которых он все еще преклоняется перед теориями своего друга: «...я все более изум-

ляюсь, до чего сильна логическая сторона Ваших рассуждений. Да, я на это не способен; я в лучшем случае умею вздыхать и петь, но доказывать, как светлеет сознание, это можете только Вы — а это самое существенное».

Но именно в «песнях и вздохах» проявилась гениальность Ницше, его способность создавать лучшие элегии и самые торжествующие гимны, которые когда-либо сопровождали идейную борьбу, его творческий дар превращать во внутреннюю музыку самую трезвую, сухую до уродливости мысль. Музыкальный элемент не жил в нем самостоятельной жизнью, он входил как отдельный звук в общую гармонию. Художник, поэт, музыкант Ницше, скрывавшийся до сих пор за мыслителем, начинает понемногу опять проявляться в нем, подчиняясь, однако, философу и его целям; и благодаря этому он так «поет и вздыхает» о своих новых истинах, что становится первым безупречным стилистом своего времени. Поэтому изучать условия и источники его стиля — значит не только заниматься формой его мыслей, это значит познавать Ницше в тайниках его души. Его стиль образовался путем добровольной и восторженной жертвы великими художественными талантами в пользу строгого познавания, стремлением выразить это строгое познавание не отвлеченными общими мыслями, а индивидуальными штрихами, так нюансированно

отражающими все движения потрясенной души. Глубину и страстность своей души Ницше воплотил в совершенные формы уже в произведениях первого периода, теперь же он вносит иное в свои новые творения — резкость и холод трезвого мышления. Как золотым кольцом замыкает оно полноту жизни в каждом из его афоризмов и придает им тем самым своеобразное очарование. Ницше создал в известном отношении новый стиль в философии, в которой господствовал до сих пор или научный тон, или поэтическая речь экстаза. Его же характерный стиль выражает не только самую мысль, но и все тонкие и тайные соотношения чувств, которыми переливается его духовная отзывчивость. Благодаря этой особенности Ницше не только овладевает языком, но и преступает границы, доступные языку, озвучивая оттенки настроений, обычно остававшиеся немыми.

Конечно, внешней причиной, побудившей Ницше избрать форму афоризма, послужили головные боли и глазные страдания. Но и по существу своей духовной природы Ницше был менее способен глядеть, как мысли бегут непрерывной цепью, закрепленные на бумаге в систематическом порядке, чем прислушиваться к ним — как к беседе с глазу на глаз, то прерываемой, то возобновляемой.

«Писать я не могу, хотя бы очень этого хотел, — говорит он в письме из Италии в январе 1881 года. — О, эти глаза! не знаю, что с ними делать, они меня заставляют отказаться от всяких занятий, и что мне остается! Ну, да — конечно, у меня есть уши». Своей способности слушать и вслушиваться он придавал большое значение, и нет такой фразы в его книгах, к которой не применимо было бы то, что он писал в одном письме: «Я всегда занят тонкостями языка; чтобы окончательно „установить" текст, нужно самым добросовестным образом „переслушать" каждое слово и каждую фразу. Скульпторы называли эту последнюю работу ad unguem».

Когда Ницше в 1881 году закончил свое третье произведение позитивистского характера «Утренняя заря», в нем уже завершился процесс восприятия и переплавки принятых им теорий. Это сочинение и следующее за ним кажутся мне самыми значительными из произведений среднего периода. В них ему удалось практически преодолеть чрезмерную рассудочность, которой он еще подчинялся в «Человеческом, слишком человеческом», сделать ее человечной и глубокой, восполнить ее неожиданно и индивидуально, не утрачивая при этом научной почвы под ногами, не ослабляя строгости познавательных методов. Незаметным образом при этом главное значение для него перетекало от чисто интеллектуальных процессов на силу чув-

ства, которое может сопутствовать даже самым трезвым и уродливым истинам только потому уже, что они истины. Таким образом, вместо силы ума сила души становилась тем, что определяет значение мыслителя. И теперь легко видно, как на этом пути должен был мало-помалу открыться для Ницше новый образ мыслей, — философия, идущая вразрез с рассудочностью.

Ни в одной из его книг нельзя так ясно проследить, как в «Утренней заре», те тонкие переходы и интеллектуальные мосты, которые ведут от периода позитивизма к следующему периоду мистической философии воли, — в этом натянутом канате, на котором, переходя, балансирует дух, наибольшая прелесть и значение книги. Таким же канатом от старого к новому, от Ницше-филолога к Ницше-позитивисту было «Человеческое, слишком человеческое», но там мы видим свершившуюся теоретически перемену воззрений, с которой страдающее чувство старается лишь понемногу примириться. В «Утренней заре», напротив, всякая возможность перемены теорий гневно отвергается как искушение, между тем как душа уже страстно рвется и тянется своими щупальцами к запретному плоду.

Сила медленно и тяжело, но непреодолимо разгорающегося внутреннего чувства — эта бьющая через край полнота души — должна была, наконец, удалить его от позитивизма и привести к новым

идейным горизонтам. Уже в полной противоположности к восхваляемой им бесстрастности он видит теперь свой идеал в том, чтобы познающий был человеком одного высокого чувства, воплощением единого высокого настроения. Ему кажется теперь привлекательным то, что прежде казалось опасностью: «о, хоть бы раз потерять почву под собой! витать, заблуждаться, безумствовать» («Веселая наука»).

В таком настроении, предаваясь, упиваясь отдыхом раскрепощенных чувств после долгого «рабочего дня» рассудка, скользит Ницше по пути в мистический мир. В нем предощущает он радость контрастов, противоположностей холодному строгому позитивизму: он стремится теперь к познанию, основанному на новых вдохновенных внушениях чувств и страстей и подчиненному творческой силе воли.

Эта «заря» — уже не бледный, холодный свет разума, освещающий лишь пройденный путь, за нею занимается животворящее солнце. И в то время, когда Ницше сам еще стоит в сером свете сумерек, глаза его с надеждой устремлены на светлую полосу на горизонте. «Есть так много зорь, которые еще не светили» — гласит эпиграф из Ригведы на заглавной странице его книги, хотя сам Ницше еще не смеет надеяться, что он призван зажечь зарю на небе познания. Книга заключает в себе

«мысли о нравственных предрассудках», как поясняет сам автор, и этим, очевидно, она примыкает к отрицательному духу прежних сочинений, но над ними уже витает мечтательный, надеющийся дух, который, хотя и высказывается лишь изредка, но думает о возможности победить все предрассудки, прийти к новым критериям и, если возможно, стать созидателем новых идеалов. «Когда, наконец, уничтожатся все обычаи и нравы, на которые опираются теперь, когда умрет мораль в прежнем значении этого слова, тогда придет... — но что же придет тогда?» («Утренняя заря»).

Крушение, разрыв со старым уже не кажется ему теперь концом, а, скорее, просветом, началом и воззванием к лучшим силам его духа. «Еще придет нечто, еще придет главное!» — обещает заря и разгорается все ярче.

Это настроение, которое всей силой своей устремленности вызывало из небытия новый духовный мир, звучит сильнее всего в заключительных словах «Утренней зари», в которых Ницше рассматривает свое критическое и отрицательное миросозерцание как путеводитель к новым идеалам: «почему же именно в *этом* направлении, в сторону, где до сих пор заходили светила человечества? Но, может быть, когда-нибудь про нас скажут, что и мы, идя на запад, надеялись достигнуть Индии».

Когда Ницше в 1882 году закончил свою «Веселую науку», Индия была для него найдена: ему казалось, что он пристал к берегам чуждого, еще не имеющего названия громадного мира, о котором он знал только одно — мир этот должен находиться по ту сторону всего, что подвержено нападкам мысли, что может быть разрушено разумом. Огромное безбрежное море лежит между ним и всякой возможностью ментальной критики — океан критики он переплыл сам, в одиночку боролся с его волнами, наглотался соленых вод всего возможного критицизма, и теперь он, знакомый со всеми штормами, вышел на твердую почву.

Но он ошибался в полной новизне этого мира и в том, что его место за пределами всего известного, — заблуждение его было противоположным ошибке Колумба, который, отправляясь искать старое, нашел новое. Ницше же, сам того не замечая, отправившись в плавание с противоположной стороны, вернулся к тому же берегу, от которого первоначально отчалил, думая, что оставил его навсегда, после того как отвернулся от метафизики. Все его последние произведения вышли из идеалов его первой, ранней поры, хотя, конечно, на них наложил отпечаток опыт истекших лет. Главная привлекательность позитивизма для Ницше заключалась, несомненно, в том, что, по крайней мере в пределах известных границ, он давал простор для всех воз-

можных переходов настроений и смены чувств. Позитивизм не заключал его в оковы, как это непременно должна была сделать метафизика, а только указывал путь; он не навязывал теории познавания, а только давал новый метод. Поэтому и разрыв совершился на этот раз не так насильственно и внезапно, как разрыв с Вагнером: это не было разрыванием пут, а постепенным отдалением и отчуждением, но все-таки перемена была так же непреодолима и бесповоротна, как и в предыдущем периоде.

Ницше должен был когда-нибудь покончить с чисто эмпирическим отношением к своим задачам, с принципиальным ограничением себя одним только опытом; он не мог навсегда отказаться от поиска последних и высших целей в философии — все его существо тянулось к ним. Вопрос мог идти лишь о том, какой тропинкой он проберется туда, где живут боги и сверхчеловеки.

Основой нового учения, которое он хотел провозгласить, единственно надежным фундаментом, на котором он считал возможным его построить, Ницше по-прежнему признавал науку. Поэтому именно в эту переходную пору он преисполнен живейшего желания отдаться систематическим научным исследованиям. С неутомимым интересом продолжал он занятия, начатые с Рэ в 1878 году. Когда Рэ сообщил Ницше в 1881 году, что намерен закончить свою новую книгу до конца года, он по-

лучил самый восторженный ответ: «в этом году должна появиться на свет книга, в стройной системе и золотой последовательности которой я буду иметь право забыть мою бедную раздробленную философию! Какой дивный год 1881!»

Летом 1882 года Ницше решил посвятить себя в течение нескольких лет изучению естественных наук, которые казались ему необходимыми для систематического построения «философии будущего». С этой целью он хотел отказаться от пребывания на юге и слушать лекции в Париже, Вене или Мюнхене. Осенью 1882 года он принял решение оставить писательскую деятельность на десять лет. В этот промежуток глубочайшего молчания он хотел проверить свою новую, склоняющуюся к мистицизму философию и затем выступить в 1892 году ее провозвестником. Он не выполнил, однако, этого решения, и именно в восьмидесятых годах писал больше всего, а затем, еще ранее означенного им десятилетия, замолк навсегда: в 1889 году бурное проявление мозговой болезни положило конец всякой мыслительной работе.

Уже в начале зимы 1882 года он опять очутился в своем одиночестве в Генуе — возобновившиеся головные боли помешали исполнению проектов с интенсивными лекционными курсами. Вторичное вынужденное отрешение от научных занятий по причине физических страданий привело теперь

к совершенно противоположным результатам, чем в период его разрыва с Вагнером и увлечения позитивизмом. Тогда невозможность заниматься побудила Ницше отказаться от построения новых теорий, углубиться в заимствованное от других и пережить его в собственной душе. Теперь, напротив, он чувствовал влечение воссоздать воображением недостающие теоретические основы. В этом основная черта последних философских произведений Ницше: он чувствовал потребность систематически расширять свои идеи, проверить верность своих озарений доказательствами, почерпнутыми в разных научных областях, но, в сущности, ему нужен был только простор для безоглядного творчества — столь властно жило в этом человеке сознание своей личности, что все мироздание становилось для него колыбелью выношенного внутри своего «я».

Сообразно с этим все его новые идеи приобретают с этих пор, как это ни странно, тем более индивидуальный характер, чем более общим является их содержание, чем шире их значение. В конце концов, их основной смысл прячется под столькими оболочками, их последняя тайна скрывается под столькими масками, что теории, в которых они воплощаются, являются лишь образами и символами внутренней жизни. У него исчезает, наконец, всякое желание быть понятым другими и находить

в них сочувствие. «Мое суждение принадлежит мне. Едва ли кто-либо другой имеет на него права» («По ту сторону добра и зла»), и в то же время это суждение является мировым законом, приказанием всему человечеству. Ибо так полно сливается в конце концов для Ницше внутреннее вдохновение и внешнее откровение, что он в своей внутренней жизни как бы охватывает все мироздание, и дух его мистическим образом содержит в себе сумму всего сущего и словно производит его из себя. «Как может быть для меня *не я*? Нет ничего извне находящегося!» («Так говорил Заратустра»). Он называет свое вступительное сочинение «Веселая наука» наиболее личной из своих книг и незадолго до опубликования ее жалуется в одном из писем: «рукопись странным образом оказывается невозможной для печати. Это следствие принципа mihi ipsi sribo».

В самом деле, никогда он еще не писал так исключительно для самого себя, как теперь, когда он намеревался основать все свое мировоззрение на своей личной психологии, объяснить все из глубины своей души. Вся мистика новых учений Ницше уже заключена здесь, но еще спрятана в глубоко личном элементе, из которого вышла. Вследствие этого афоризмы Ницше образуют монологи, произносимые как бы вполголоса, порой даже как будто пантомимы, многое скрывающие за собою. Идеи

его «философии будущего» уже обнаруживаются в этих монологах, но это как бы закутанные покрывалом фигуры, взгляд которых устремлен на нас с загадочным прищуром.

Ему трудно говорить свободно, потому что и на этот раз, говоря о себе, он должен говорить о своих страданиях. В сравнении с ними нравственные лишения и борьба его в период позитивизма кажутся невинными и ничтожными. На первый взгляд, это чудится противоречием, потому что философия последних лет вышла у Ницше именно из стремления заменить ставший ему ненавистным позитивизм тем миросозерцанием, которое вполне соответствовало его внутреннему влечению. И в самом деле, он начинает свой последний период среди ликования. Но не нужно забывать, что это крайнее самоуглубление, эта попытка воссоздать мир из собственной души должна была обнаружить в Ницше *страдание самим собою*, которое составляло первооснову его духовного существа. Теперь, когда Ницше уже не насилует своей души, когда он свободно выражает свои влечения, становится ясно, среди каких мук он жил; слышится крик об избавлении от самого себя, стремление найти себе противоположность, конечную метаморфозу не только отдельных побуждений, но и всего внутреннего человека. В полном отчаянии он ищет в самом себе и вне себя спасительный идеал, противопо-

ложный своему внутреннему существу. Как только Ницше превращает свое внутреннее содержание в содержание мира, как только он начинает искать мировые законы в событиях собственной души, философия его рисует трагическую картину: человечество должно ему казаться страдающим, безнадежно больным в своем развитии, двойственным существом, имеющим право существования не в самом себе, а лишь настолько, насколько оно образует мост к высшей, *сверхчеловеческой* расе. Конечной целью человечества является погибель и самоотвержение во имя противоположного идеала. Но в этом самозаклании человечества Ницше видит радостную сторону. Идеал найден, и книга, в которой он провозглашает новое учение, носит название «веселой науки», хотя над заключительным афоризмом книги стоят загадочные слова: «Incipit tragoedia!»

* * *

Чтобы понять Ницше до конца, необходимо понять психологию религиозного чувства. И только насколько эта область может быть освещена, настолько полосы света падают на значение всего его существа, его страданий и его самовоодушевления. Это история религиозных переживаний, еще сильных в нем и после того, как он разбил божество, на

которое опирался. «Солнце уже зашло, но небо нашей жизни еще пламенеет и озарено его светом, для нас уже незримым», — это тоска утраты божества в «Человеческом, слишком человеческом». Все его развитие вышло в значительной степени из того, что он потерял веру, из «скорби о смерти Бога», этой безграничной скорби, которая звучит вплоть до последнего произведения, написанного Ницше уже на грани безумия, — до четвертой части его «Так говорил Заратустра» — «Все боги умерли: теперь мы хотим, чтобы жил сверхчеловек!»

Отчаянная тоска о божестве должна была сказаться среди своих мук в стремлении создать божество, и это выразилось в самообожании. Ведь если множество отдельных, не связанных между собой порывов распадается на две как бы противопоставленные одна другой сущности, из которых одна властвует, а другая покоряется ей, человек находит возможность относиться к себе как к высшему существу. Тем, что он принес в жертву самому себе часть себя, он приблизился к *религиозному экстазу*.

«В человеке соединяются тварь и творец: в человеке есть материя, недоделанность, избыток, прах, нечисть, бессмыслица, хаос; но есть в нем и создатель, художник, есть в нем твердость молота, божественность созерцателя, настроение седьмого дня...» («По ту сторону добра и зла»). И здесь

видно, как непрерывное страдание и бесконечное самообожествление обусловливают одно другое тем, что каждое создает сызнова свою собственную противоположность. Ницше находит это отраженным в истории короля Висмавитры, «который из тысячелетних самоистязаний вынес такое сознание своей силы и такую веру в себя, что взялся построить ***новое небо***... Всякий, кто когда-нибудь строил новое небо, находил силу для этого лишь в *собственном аду*» («К генеалогии морали»).

Казалось бы, что в силе, которая обладает такой способностью исцелять себя, должно быть, по меньшей мере, столько же здоровья, сколько ее в спокойствии гармоничного развития задатков. Даже гораздо больше здоровья: она находит возможность проявляться и укрепляться в том, что наносит раны и вызывает горячку; она превращает болезнь и борьбу в стимул жизни и познания, в светоч и орудие для своих целей — она обнимает невредимо для себя болезнь и смерть. Ницше хотел, особенно в последнее время, когда он был больше всего болен, чтобы его болезнь и была бы понимаема в таком смысле, то есть как история выздоровления. Эта могущественная натура успела среди страданий и борьбы найти исцеление и новые силы в своем идеале познавания. С какой витальной силой выражен этот идеал в афоризме, озаглавленном «Вздох познающего»: «О, как я жаден! Эта душа

не знает самоотречения — напротив, в ней живет всепоглощающее «я». Оно хотело бы глядеть через множество людей, как через собственные глаза, и пользоваться их руками, как своими собственными. Оно хотело бы даже вернуть все прошлое, не утратить ничего, что могло бы принадлежать ему! О, этот пламень моей жадности! Если бы я мог возродиться в сотнях существ!»

Но, достигнув исцеления, его натура снова нуждалась в страданиях и борьбе, в лихорадке и ранах. Она, которая сама достигла своего исцеления, снова вызывает прежнее; она обращается против себя самой и как бы перекипает, чтобы снова впасть в болезненное состояние. Над каждым достигнутым стремлением, над каждым счастливым моментом выздоровления стоят слова: «кто достигает своего идеала, тот становится тем самым выше него» и «он чувствует себя раненным своим счастьем».

Здоровье в этом случае не есть превосходство, которое обращает болезнь как нечто второстепенное, в оружие для себя: оба обуславливают друг друга, *содержатся* один в другом — оба вместе составляют странное *самораздвоение* в одной и той же духовной жизни.

Такое внутреннее раздвоение лежит в основании всего описанного душевного процесса, который остается в главных своих чертах неизменной синусоидой периодов здоровья и болезни. И пото-

му в этом процессе, который каждый раз заново обещал ему исцеление и подъем, таился уже патологический элемент такого рода духовного развития, которому *имманентно необходима болезнь*.

И подлинным результатом нашего созерцания феноменального творчества Ницше будет не то, что нам откроется сущность нового миросозерцания, а то, что мы увидим картину человеческой души, совмещающей в себе величие и болезненность. Философское значение исканий Ницше открывает свою глубину тем, кто замечает, что изменение воззрений отражается всякий раз на всем существе Ницше. Изменяются не только внешние очертания теорий, но и все настроение, окружающая атмосфера и все освещение. В то время как мы следим за сменою одних мыслей другими, мы видим низвержение целых миров и воздвижение новых. В этом заключается оригинальность Ницше: посредством его натуры, которая переносит все мироздание на себя, воспринимает всю историю человечества как свою сокровеннейшую проблему и в то же время теряет себя в общем, приоткрываются те механизмы мыслительных процессов, которых мы обыкновенно едва касаемся разумом, никогда не исчерпывая их до глубины. А именно сквозь них текут потаенные гольфстримы, несущие нас в океан творческого состояния и экстатизма.

Вследствие этого, в глубоком религиозном аффекте, из которого исходит у Ницше все познание, связаны в неразрывный узел *отрешения от себя* и *собственный апофеоз*, жестокость собственного *уничтожения* и ликование собственного *боготворения*, мучительная болезнь и торжествующее выздоровление, опьянение и холодное самообладание. «Он истязает свое самообожание самопрезрением и жестокостью, он радуется дикому бушеванию своих страстей, он умеет ставить западни своему аффекту, в особенности своему крайнему властолюбию, и переходить в противоположную крайность величайшего унижения, так что его истерзанная душа теряет всякую устойчивость вследствие этих контрастов; этим путем достигается, конечно, очень редкий вид сладострастия, но в нем, как в узле, сплетены все другие» («Человеческое, слишком человеческое»). Тесное сочетание контрастов, которые постоянно обуславливают друг друга: перекипание и добровольное низвержение напряженных и возбужденных до крайности сил в хаос, мрак, ужас и оттуда опять стремление к светлому, нежному...

Отношение Ницше к своей раздвоенности, протест против нее или подчинение ей, поиск ее каждый раз в чем-нибудь другом определяют собой течение его мыслей и особенности различных эпох его духовной жизни, пока, наконец, эта раздвоенность

не становится в нем галлюцинацией, видимой сущностью, которая омрачила его дух, умертвила его разум. Он не мог более защищаться от самого себя: в этом состояла дионисийская драма «судеб души» в самом Ницше. Познающий смотрит, конечно, своими духовными глазами на себя самого как на обособленную сущность, но он все-таки в плену у собственной сущности: он только в состоянии раздвоить ее, но не выйти из нее. «Торжество аскета над самим собой, его взор, обращенный при этом внутрь себя и видящий человека раздвоенным на страдающего и созерцающего, его обращение к внешнему миру лишь для того, чтобы собирать в нем топливо для собственного аутодафе, эта последняя трагедия стремления к отличию, трагедия с одним действующим лицом, сожигаемом в самом себе...» («Утренняя заря»). Одиночество внутренней жизни, в которой дух хочет осилить самого себя, становится наиболее глубоким и мучительным в конце. Каждый шаг по пути к внешнему миру ведет опять в глубину собственной души, которая становится, наконец, своим собственным божеством и миром, небом и адом, каждый шаг ведет его дальше в последнюю пропасть, к конечной гибели.

Стремление найти замену утраченного божества в самых разных формах самообожания — вот история его духа, его произведений, его болезни.

В этих основных чертах натуры Ницше заключаются причины *утонченности и экзальтации*, присущих, как жгучая пряность, всему высокому и значительному в его философии. Сильнее всего это должен чувствовать неиспорченный вкус молодых и здоровых натур, или же люди, защищенные безмятежностью религиозных воззрений и не испытавшие на самих себе борьбы и страданий атеиста с религиозными влечениями. Но именно это и делает Ницше в столь сильной степени философом нашего времени. В нем выразилось типичным образом то, что глубже всего волнует современность: невозможность удовлетвориться крошками от трапезы современного познания и невозможность отказаться от своего отношения к познанию. Такова великая и потрясающая картина философии Ницше: целый ряд мощных попыток разрешить эту задачу современного трагизма, угадать тайну современного сфинкса и сбросить его в пропасть.

Именно поэтому, если мы хотим разобраться в произведениях Ницше, нам следует обратить внимание на человека, а не на теоретика. В теоретическом отношении он часто опирается на других мыслителей, но то, в чем они достигли своей зрелости, своей творческой вершины, служит ему исходным пунктом для собственного творчества. Малейшее прикосновение, которое испытывал его разум, будило в нем полноту внутренней жизни. Он ска-

зал однажды: «Бывают два типа гениев: один, который творит и хочет творить, другой, который дает себя оплодотворять и рождает» («По ту сторону Добра и Зла»). Он, несомненно, принадлежал ко второму типу. В духовной натуре Ницше было — доведенное до величия — нечто женственное*; но при этом он настолько гениален, что совершенно безразлично, что давало ему первотолчок. Если мы соберем все, что было посеяно в его уме прежними учениями, у нас окажется лишь горстка незначительных зерен; когда же мы вступаем в его философию, нас осеняет лес тенистых деревьев, роскошная растительность дикой, безграничной природы.

* Иногда, когда он это чувствовал особенно сильно, он склонялся к тому, чтобы считать истинным гением женский гений: «духовная беременность делает характер созерцателя похожим на женский — это мужчины-матери» («Веселая наука»).

ОПЫТ ДРУЖБЫ

Однажды вечером в марте 1882 года в Риме несколько друзей собрались в доме Мальвиды фон Мейзенбух. Неожиданно раздался еще один звонок. В комнате появилась управляющая и шепнула на ухо хозяйке некую потрясающую новость, после чего Мальвида поспешила к секретеру и, достав деньги, вышла. Когда, смеясь, она вернулась, прозрачная косыночка из черного шелка от волнения соскользнула с ее головы. Вместе с Мальвидой в комнату вошел молодой Пауль Рэ, ее давнишний друг, которого она любила как сына. Он примчался из Монте-Карло, чтобы вернуть долг человеку, ссудившему ему деньги, когда Пауль проиграл буквально все до последнего су.

Меня слегка взволновало начало наших отношений, в чем-то забавное и неожиданное: завязались они почти мгновенно, возможно, потому, что Пауль Рэ, над которым парил некий ореол неординарных событий, разом затмил все происходившее до

него. Его выразительный профиль, умные глаза показались мне близкими, в них явно читались раскаяние, юмор и доброта.

В тот вечер наша страстная, взахлеб, беседа закончилась глубоко за полночь. После многочисленных уловок задержаться — и так продолжалось потом все вечера — мы покинули Ла Виа делла Полверьерра и отправились в пансион, где я жила с мамой. Эти прогулки по улицам Рима, освещенным луной и звездами, сблизили нас настолько, что я, не мешкая, принялась разрабатывать изумительный план на будущее, который способствовал бы продолжению наших отношений вопреки намерению матери вернуть меня в Санкт-Петербург.

Однако Пауль Рэ, увы, совершил грубейшую ошибку: он заговорил с моей матерью о нашем браке, и в итоге мне стоило немалого труда склонить его к принятию именно моего плана. Я убедила его в том, что замкнутость моей личной жизни и моя необузданная потребность в свободе диктуют мне совершенно иные задачи.

Сознаюсь честно: я была совершенно убеждена в том, что мой план — настоящее оскорбление общепринятых норм, и тем не менее план этот был осуществлен, хотя сначала я увидела все это во сне. Мне приснился замечательный рабочий кабинет с книгами и цветами, где проходили наши беседы,

рядом — две спальни, а в зале — веселый и одновременно серьезный круг друзей-единомышленников.

Нельзя отрицать, что пять лет, или почти пять лет нашей совместной жизни с Рэ поразительно похожи на этот сон. Пауль сказал однажды, что разница была лишь в том, что наяву я не проводила различия между книгами и цветами: я брала внушительные университетские тома, чтобы подкладывать их под горшки с цветами; занимаясь таким дизайном, я приводила окружающих в замешательство. Наконец, когда я еще боролась с мамой, не терявшей надежду вернуть меня домой живой или мертвой, Мальвида, к моему великому изумлению, обнаружила еще больше предрассудков, коренившихся в непоколебимости религиозных принципов и благородных традиций высшего общества. Я с удивлением открыла для себя, до какой степени идеал свободы может подавлять реальную свободу личности: чтобы служить ее пропаганде, этот идеал старается тщательно избежать любого недоразумения, предпочитая любую «фальшивую видимость». Отвечая на письмо своего наставника*, который тоже, как мне казалось, не был расположен меня понять, я написала из Рима о своем несчастье и разочаровании. Вот это письмо в Санкт-Петербург:

* Имеется в виду пастор Гийо. — *Прим. пер.*

Рим, 26/13 марта 1882 года

Перечитав Ваше письмо по крайней мере раз пять, я его так и не поняла. Что я сделала не так? А я-то думала, Вы похвалите меня, я готова доказать, что хорошо усвоила урок, который получила благодаря Вам. Во-первых, потому, что я абсолютно не строю замков и действительно сделаю то, о чем говорю, во-вторых, потому, что я реализую это с людьми, которых Вы знаете, — умными и ответственными. Но Вы убеждаете меня в обратном, что, мол, моя идея — бредовая и что пытаться воплотить ее в жизнь — значит только все усложнить; наконец, что я неспособна правильно понимать великих людей старше меня, таких как Рэ, Ницше и других. Но в этом-то и заключается Ваша ошибка. Главное — а для меня главное в человеческом отношении — это Рэ и ***только он*** — мне очень хорошо известно.

Рэ еще не совсем мой единомышленник, он еще растерян, но во время наших бдений до двух часов ночи под лунным светом Рима, вне общества Мальвиды фон Мейзенбух, мои объяснения приобретали для него смысл. Мальвида тоже против нашего плана, и это меня огорчает, потому что я сильно люблю ее. Но я давно заметила: наши мысли, по сути, всегда разные, даже когда мы в целом согласны. У нее привычка говорить, что «мы» не имеем права делать «это» или «то». Я же совершенно не

знаю, что есть на самом деле это «мы» — какая-то идеальная партия или философская категория? Что касается меня, я даже не знаю, что есть «я». Я не могу соотнести свою жизнь с общепринятыми моделями и никогда не смогу создать некую модель, но взамен этого я буду управлять своей жизнью по правилу: будь что будет. Поступая так, я защищаю не какой-то принцип, а нечто высшее, что присутствует в нас, идущее от жизни, что ликует и бьет ключом. Вы пишете также, что никогда не видели, чтобы я себе ставила интеллектуальные цели большие, нежели просто «переходная ступень». Но что Вы вкладываете в понятие «переходная ступень»? Если нечто, за чем следуют потом другие цели, ради которых нужно отказаться от того, что является самым замечательным, что труднее всего заполучить на земле, а именно — от свободы, в таком случае я хочу всегда оставаться на стадии «переходной ступени», потому что свободу-то я и не принесу в жертву.

Определенно нельзя быть такой счастливой, как я сейчас, а «война», которая меня, конечно, ждет, совсем меня не пугает, напротив, пусть она будет! И мы увидим, не превратится ли большинство препятствий, называемых «непреодолимыми» в этом мире, в ничего не значащие линии, начертанные мелом.

Но что могло бы меня действительно испугать, так это то, что Вы не сочувствуете мне. Вы себе же противоречите, написав, что все советы, без сомнения, не могут что-либо изменить в этой ситуации. Ваши «советы» — нет! Мне нужно от вас гораздо больше, чем советы: Ваше доверие. Не в обычном смысле, конечно, нет, — мне нужно, чтобы Вы поверили в то, что я могу сделать. И порукой тому — все, что мне принадлежит, — моя голова, мои руки — все то, чем, благодаря Вам, я стала.

Ваша маленькая девочка.

Тем временем в Риме произошло событие, которое «подлило воды на нашу мельницу», — приезд Фридриха Ницше. Случилось неожиданное: едва только узнав о нашем плане, Ницше предложил себя в качестве третьего лица нашего союза.

Местопребывание нашей будущей троицы было вскоре определено: вначале мы думали о Вене, затем о Париже, где Ницше хотел посещать какие-то лекции и где Пауль Рэ и я познакомились с Иваном Тургеневым (у него эта встреча произошла давно, у меня — вскоре после отъезда из Санкт-Петербурга). Ницше пребывал в игривом настроении, и часто ничего нельзя было понять из его высокопарно-закамуфлированной манеры выражаться. Я помню его торжественный вид в день нашей пер-

вой встречи, которая произошла в церкви Святого Петра. Первые слова Ницше, обращенные к нам, были: «Какие звезды свели нас вместе?»

Но то, что так хорошо начиналось, приняло неожиданный оборот, втянув нас с Паулем в новые перипетии, ибо вновь прибывший усложнил ситуацию непредвиденным образом. Разумеется, Ницше думал, наоборот, упростить ситуацию: он сделал Рэ своим посредником по части брака со мной. Удрученные, мы искали средство уладить все, чтобы не подвергать угрозе интересы нашей троицы. Мы решили объяснить Ницше, что, во-первых, я испытываю глубокое отвращение к браку вообще, во-вторых, что я живу на одну пенсию, которую моя мать получает как вдова генерала, и, наконец, что брак лишил бы меня скромной ренты, которая мне полагалась как единственной наследнице русского дворянского рода.

Когда мы покинули Рим, дело, казалось, было улажено. За последнее время у Ницше случилось несколько приступов сильной головной боли. Пауль остался возле него. Моя мать рассудила, что разумнее было бы меня увезти. Уже позднее мы жили втроем в Орта, на берегу озер Северной Италии, где вершина Монте-Сакро буквально околдовала нас. Тогда же Ницше заставил нас сфотографироваться втроем, несмотря на сопротивление Пауля, который всю жизнь испытывал болезненное отвра-

щение, глядя на свои фотографии. В веселом расположении духа Ницше не только настоял на своем желании, но и занялся этим лично, с усердием следя за всеми нюансами, которые должны были быть изображены, — к примеру, маленькая (даже слишком) тележка, претенциозная деталь — ветка сирени, закрепленная на хлысте, и т.п.

Поначалу между Ницше и мною были разногласия, вызванные всякого рода россказнями, смысла и источника которых я так и не уяснила до сих пор. Мы вскоре от них избавились ради спокойного совместного существования. Тогда я смогла проникнуть глубже во внутренний мир Ницше. Что касается его произведений, то я не знала ничего, кроме «Веселой науки», которую он как раз заканчивал и последние части которой мы прочитали уже в Риме. Встречаясь, Ницше и Рэ обнаруживали явное сходство мыслей. Пауль всегда предпочитал афоризмы — форма выражения, которую Ницше вынужден был избрать в силу своего образа жизни. Пауль Рэ вечно разгуливал с Ларошфуко или с Лабрюйером в кармане, и его мысль мало изменилась со времени его первой рукописи «Кое-что о тщеславии». В Ницше, напротив, чувствовалось, что он не собирается останавливаться на сборниках своих афоризмов и со временем перейдет к «Заратустре»; чувствовалось некое скрытое движение: он эволюционировал к религиозному пророчеству.

В одном из писем, которые я написала Паулю, можно прочесть (сегодня я бы подчеркнула это высказывание дважды): «Мы увидим его появление как проповедника новой религии, и это будет религия, которая потребует преданных последователей. Мы с ним думаем и чувствуем в этой сфере одно и то же, мы произносим абсолютно одни и те же слова и выражаем одинаковые мысли. За эти три последние недели мы буквально истощены дискуссиями, и, что удивительно, он переносит сейчас беседы почти по десять часов кряду». Странно, но наши беседы вели нас в некие пропасти, в дебри, куда забираются однажды поодиночке, чтобы почувствовать глубину. На прогулках мы выбирали нехоженые тропинки, и если нас слышали, то думали, наверное, что это беседуют два дьявола.

Неизбежное очарование, которое оказывали на меня характер и слова Ницше, преодолеть было невозможно. И все же я не стала его ученицей и преемником: я всегда колебалась вступить на путь, с которого мне все равно пришлось бы сойти, чтобы сохранить ясность мысли. Была тесная связь между предметом обожествления у Ницше и моим отступничеством...

После перерыва мы вновь встретились с Ницше в октябре, в Лейпциге, на три недели. Никто из нас двоих не сомневался в том, что эта встреча была по-

следней. Все было иначе, не так как прежде, хотя мы по-прежнему хотели жить втроем. Когда я спрашиваю себя, что привнесло наиболее негативный оттенок в мое мнение о Ницше, я отвечаю: его многочисленные намеки, призванные очернить Пауля Рэ в моих глазах, и я удивляюсь, что он верил в эффективность этого средства. Вскоре свою враждебность он перенес на меня, и выразилось это в форме злобных упреков, с которыми я познакомилась только из черновиков его писем. То, что произошло потом, кажется настолько противоестественным для характера и жизненной позиции Ницше, что объяснить это можно только вмешательством постороннего лица*. Он начал питать в отношении Рэ и меня подозрения, которые сам же первым и опроверг, настолько они были необоснованны. Пауль Рэ, как мог, старался уберечь меня от всякого рода недоразумений и оскорбительных намеков. Похоже, что некоторые письма Ницше, адресованные мне и полные необоснованных обвинений, до меня так и не дошли. Более того, Пауль скрыл от меня также и то, что происки были связаны с неприязненным отношением его семьи ко мне.

Ницше, без сомнения, сам был недоволен слухами, которые заставили его ретироваться. Так, наш

* Лу намекает на Элизабет Ферстер-Ницше. — *Прим. пер.*

друг Генрих фон Штейн* рассказал нам, что в Сильс-Марии, куда он приехал однажды к Ницше, он пытался убедить его, что можно рассеять недоразумения между нами троими, но Ницше ответил, качая головой: «То, что я сделал, не подлежит прощению».

* * *

Между тем Пауль Рэ и я устроились в Берлине. Общность, о которой я мечтала, реализовалась в кружке молодых литераторов, в большинстве своем преподавателей университета; задачи и состав этого кружка менялись с годами. Пауль получил там прозвище «благородной девицы», а я — «его превосходительства» (как было записано в моем паспорте — по русскому обычаю я унаследовала титул отца в качестве его единственной дочери). Даже летом, покидая Берлин на университетские каникулы, мы никогда не оставались одни, несколько друзей всегда присоединялись к нам. (Помню

* Генрих фон Штейн, учитель сына Вагнера, Зигфрида, с которым Лу познакомилась в Байрейте, был одним из самых активных членов берлинского кружка Саломе и Рэ. Впоследствии стал близким другом и преданным учеником Ницше, который писал в июле 1883 года: «Генрих фон Штейн, несомненно, обожатель m-lle Саломе, мой последователь в этом, как и во многом другом». — *Прим. пер.*

одно особенно счастливое лето в Верхнем Энгадине, где мы все жили у мельника.)

Денег на жизнь у нас хватало: у меня было 250 марок в месяц благодаря пенсии матери, а Пауль, проявляя трогательное внимание, клал ту же сумму в наш общий кошелек. Мы учились тратить экономно: это было забавно и принесло мне расположение брата Пауля, Георга, который заведовал наследствами их обоих. Пауль, став скромнее в своих потребностях, больше не докучал ему в отношении денег.

Следуя мудрому совету Рэ (этой «благородной девицы» в мужском облике, гораздо более рассудительному, чем любая женщина), мы посещали в Берлине только наш собственный кружок, да еще порой другие кружки подобного типа — ни благородных семейств, ни тогдашнюю богему, тем более что «художественная литература» встречала в моем лице самый отпетый образец невежества.

В то время я написала свою «первую книгу», но поскольку от меня потребовали не вмешивать в эту публикацию фамилию семьи, я взяла в качестве псевдонима имя моего голландского друга и мое собственное*. Забавно, что эта книга — Генри Лу, «В поисках Бога» — была лучше принята критикой, чем любое из моих будущих произведе-

* Генри Лу — от Hendrik Gillot + Lou Salome. — *Прим. пер.*

ний. Она родилась из моих петербургских заметок, а так как этого было мало, еще из написанной мною когда-то новеллы в стихах, которую я переложила на прозу.

Среди людей, которые нас окружали, были представители разных научных областей: естествоиспытатели, востоковеды, историки и множество философов. Философия ставила тогда перед собой задачу беспокоить и стимулировать умы, причиной чему была особая ментальная атмосфера того времени. Внушительные послекантовские системы, вплоть до неогегельянства во всех его разновидностях, не ушли от решительного столкновения с противоположной духовной тенденцией XIX столетия, названного «эрой Дарвина». Среди тех, кто защищал позитивистские принципы объективности и реализма, появились пессимистические настроения: это представляло собой еще очень идеалистическую реакцию на все виды практик «разбожествления». Однако за любовь к «истине» приносились настоящие жертвы. В этом состоял героизм того времени для людей, интересовавшихся философией. После смирения перед «истиной» открылась целая эра «конфессий смирения»: устанавливая положение человека как можно ниже, испытывали особое чувство мазохистской гордости.

Даже в нашем кружке, который то уменьшался, то ширился, не сознавали еще, что человек, сбор-

ники афоризмов которого внесли свежую струю в психологию — Фридрих Ницше, — приобретет всемирную славу. Однако как покров вуали, невидимый, он был среди нас. Не соединял ли он в действительности эти ростки возбужденных умов? Не по причине ли конфликтов его души и психических расстройств, которые побуждали его полностью отдаваться своему поиску, его поэтический дар и сила проницательности объединились столь продуктивным образом?

Однако что еще определило столь глубокий след, оставленный Ницше в интеллектуальной жизни того (и последующего) времени, — так это тот контраст, который он являл по сравнению с нашими друзьями. Ибо несмотря на различия позиций каждого по отношению к основным вопросам, все были согласны в одном: они все искусственно повышали стоимость «объективности» этих вопросов. Они старались изо всех сил отделить свои эмоции от желания познания, разъединить их как можно глубже и рассматривать все «личное» как несовместимое с «научным подходом».

Напротив, состояние души и личная трагедия Ницше стали тем тигелем, где его жажда познания приняла наконец форму: из огня возникло «цельное творение — Ницше». Я была не единственной, кто ощущал контраст между Ницше и нами как особенность, открывшую ему самые большие

кредиты в сердце нашей группы. Вообще надо сказать, что в ней царил здоровый и свободный климат, к которому я всегда стремилась и который способствовал тому, что Пауль Рэ оставался моим духовным другом, даже когда он трудился над «Зарождением совести», окрашенным несколько ограниченным уллитаризмом, так что я чувствовала себя в своей интеллектуальной работе ближе к некоторым другим членам нашей группы, чем к нему (я имею в виду Фердинанда Тенниса* и Германа Эббингауса**).

То, что нас с Паулем Рэ притянуло друг к другу, не ограничивалось мимолетным, а обещало вечную дружбу. И если мы верили в эту возможность, то только потому, что Рэ обладал абсолютно уникальным среди тысяч людей даром товарищества. Я была молодой девушкой, глупой и неопытной, и многие вещи, которые мне казались тогда совершенно естественными, были в действительности настоящей редкостью, в частности его неизменная доброта. Я не догадывалась вначале, насколько основательно базировалась она на тайном чувстве неприязни к самому себе: его полная преданность

* Ф. Теннис — крупнейший немецкий социолог. — *Прим. пер.*

** Г. Эббингаус — один из основателей экспериментальной психологии. — *Прим. пер.*

по отношению к кому-то иному, чем он сам, являлась замечательным способом забыть себя и освободиться от себя. Действительно, меланхоличный и пессимистичный Пауль Рэ, помышлявший в молодости о самоубийстве, стал человеком веселым и замечательно открытым. Он обладал недюжинным чувством юмора, и даже толика пессимизма, остававшаяся в нем, проявляла себя продуктивным образом: в то время как другие испытывают раздражение перед разочарованиями, которые вечно приносит с собой повседневность, он развил способность замечать лишь то, что счастливо обманывало его пессимистические ожидания. Таким образом, его скрытная невротическая натура оставалась для меня во многом тайной, хотя он часто оплакивал себя в открытую, будучи огорченным всеми своими возможными и невозможными недостатками; только однажды, позднее, увидев Пауля во власти прежней страсти к игре, я сопоставила его с тем игроком, каким я узнала его в Риме в первый вечер, и мне открылись другие черты его характера так, как я их вижу и понимаю сегодня. И сейчас еще я испытываю глубокое сожаление при мысли, что он мог бы найти спасение, если бы психоанализ Фрейда появился на несколько десятилетий раньше. Ибо он не только вернул бы его к себе, но и позволил достигнуть полной интеллектуальной зрелости.

Казалось бы, моя предстоящая помолвка никак не могла помешать тем узам, которые нас скрепляли. Мой муж одобрил это положение вещей как что-то абсолютно неизменное. Пауль же делал вид, что верит в то, что моя семейная жизнь ничего не изменит. Чего ему не хватало на самом деле, так это веры, что его действительно могут любить, хотя сама реальность доказывала обратное. И несмотря на откровенность, с которой мы объяснились по поводу этого наедине (он решил не встречаться с моим мужем, не разговаривать с ним, по крайней мере, некоторое время), стена между ним и Андреасом продолжала существовать. В то время мы уже жили отдельно, потому что Пауль Рэ начал свои занятия медициной и должен был анатомировать по утрам.

Вечер нашего расставания вписался огненными буквами в мою память. Он ушел очень поздно, но вернулся через несколько минут, так как был сильный дождь. Через некоторое время он снова ушел, но тут же вернулся за книгой. Когда он ушел совсем, рассветало. Я выглянула в окно и была сильно удивлена: улица оказалась сухой, а безоблачное небо еще пестрело бледнеющими звездами. Отвернувшись от окна, я заметила в свете лампы свою детскую фотографию, которую когда-то взял Пауль. Она выглядывала из сложенной записочки, где я прочла: «Сжалься! Не ищи!»

Было естественно, что уход Пауля Рэ стал благодеянием для моего мужа, хотя тому достало деликатности не говорить мне об этом. И так же естественно, что, несмотря на проходящие годы, печаль продолжала давить на меня: я знала, что что-то уже никогда не произойдет. Когда я просыпалась по утрам с чувством угнетенности, только новый сон мог ее подавить. Вот один из самых тревожных: я вместе со своими друзьями, которые сообщают мне радостно, что с ними Пауль Рэ. Я смотрю на них и не нахожу его, иду в прихожую, где висят наши пальто. Мой взгляд падает на огромного толстого незнакомца, который спокойно сидит, скрестив руки, за вешалкой. Избыток жира, который делает его трудноузнаваемым, заслоняет ему глаза, покрывает лицо, как погребальная маска из плоти. Он произносит с удовлетворенным видом: «Не правда ли, вот таким меня никто не найдет?»

Пауль Рэ завершил свои занятия медициной и удалился в Селерину в Верхнем Энгадине, где он применил свои способности врача, бесплатно леча бедных.

Он разбился насмерть, сорвавшись с горы в окрестностях Селерины.

РИЛЬКЕАДА

С Райнером

На улице Шеллинга в Мюнхене, в одном из так называемых «княжеских домов», где с начала 1897 года я устроилась с Фридой фон Бюлов, некоторое время я получала по почте анонимные стихи. И вот в один из вечеров вначале нового театрального сезона, после декламаций Якоба Вассермана, в очередном выступающем я вдруг — именно по стилю, так напомнившему мне первое из этих писем — узнала автора посланий. Позднее он прочел мне другие стихотворения, такие как «Видения Христа». Вспоминаю, что тогда, читая первое письмо, мне почудился в этих стихах некий негативный, упаднический привкус. Сейчас трудно восстановить эти стертые впечатления наверняка, поскольку, невзирая на мои позднейшие усилия достать эти стихи (а сам автор уничтожил эти ранние пробы), даже подключив издательский дом

«Инзель», их так и не удалось найти, так что можно без сомнения считать их навсегда утерянными, хотя были те, кто тогда держал их в руках, и даже готовилась публикация в альманахе «Общество».

Прошло совсем немного времени, и Рене Мария Рильке, мой таинственный отправитель, стал Райнером. Мы — он и я — начали поиски удаленного от города уголка вблизи гор. Продолжая наши скитания, мы дважды меняли свое пристанище в Вольфратхаузене: когда мы поселились в нашем первом домике, Фрида фон Бюлов все еще оставалась с нами; второй раз мы выбрали ферму у самого подножия горы, где нам отвели несколько комнат над хлевом; на снимке, который был там сделан позднее, была даже корова… Из нашего окошка под самой кровлей была хорошо видна дорога, что терялась среди пейзажа, а сверху вился на ветру наш флаг из грубого полотна, где огромными черными буквами было выведено — «Луфрид» («Гавань Лу»). Флаг был сделан и водружен Огюстом Энделем, известным молодым архитектором, позднее приятелем Райнера; он помог превратить наши три смежные комнатки в уютное гнездышко, принес красивые покрывала, подушки и кое-какую посуду. Осенью к нам на некоторое время подъехал муж с нашей собакой; время от времени нас навещал Якоб Вассерман, после того литературного вечера величавший себя нашим «сватом», приезжали

и другие — так, нас посетил один русский из Санкт-Петербурга*, и хотя он оставил по себе не лучшие воспоминания, именно с ним я начала всерьез изучать русский.

В совсем еще юном Райнере изумляло количество всего, что он уже успел написать и издать, — стихи, рассказы, журнал «Wegnarten» («Дикий цикорий»), издателем которого он был, однако тогда этот человек не производил впечатления поэта с великим будущим, которым он станет намного позднее, но поражала присущая ему удивительная особенность быть Человеком. Именно потому, что он был очень уверен в своей мечте (он говорил, что с раннего детства ощущал, будто поэтическая миссия — его бесспорное призвание), он не переоценивал всего того, что уже сделал; это только толкало его беспрерывно возобновлять попытки выразить себя, попытки, в которых муки техники и борьба слов были совершенно естественны, порождены излишком, «перехлестом» чувств, искавших для себя образов, — эта «сентиментальность» должна была компенсировать то, что он еще не полностью мог реализовать спрессованно и емко.

---

* Лу имеет в виду Акима Волынского, русского переводчика Канта, издателя сочинений Вагнера, редактора популярного в России журнала «Северный вестник», совместно с которым она написала новеллу «Amor». — *Прим. пер.*

Эта «сентиментальная тенденция» была оттиском его характера и вписывалась в рамки технических пробелов, но он не стеснялся ее в своей нерушимой уверенности в том, что быть Поэтом — его рок. Его товарищ Эрнст фон Вользоген однажды шутя назвал его в письме: «Чистый Рене, непорочный Мария» — и в самом деле, не было в природе ничего более интимного и трогательного, чем Райнер со своим ожиданием поэтических чудес, казалось бы, столь женственным и детским, но одновременно со столь присущим ему мужеством полусвятой аристократической деликатности. К нему было так применимо выражение «мужественная грациозность», простая в своей нежности и нерушимая в своей гармонии. И когда, зная это, я думаю о Поэте, каким он стал позднее, о Поэте, который достиг своей цели и реализовал себя сполна в своем искусстве, я прекрасно понимаю также, что это стоило ему собственной гармонии личности.

Без сомнения, в любом процессе творчества, если посмотреть вглубь вещей, есть доля опасности, доля соперничества с жизнью. Для Райнера эта опасность была тем более очевидна, что сама его природа побуждала его поэтически переосмысливать то, что почти невозможно выразить словами. Именно поэтому, разворачиваясь с годами, его жизнь, с одной стороны, и творческая гениаль-

ность — с другой, уже не стимулировали друг друга, а развивались вопреки друг другу, порождая конфликт между требованиями, которые он предъявлял к своему искусству, и стремлением обрести полноту жизни по мере того, как его творчество воплощалось в книгу невероятно и исключительно правдивую.

Потребовались годы, прежде чем его талант проявил себя во всей полноте. То, что должно было со временем стать «книгой», накапливалось, приобретая глубину и ясность, но недели и месяцы между вспышками воодушевления сводились к простому ожиданию, от которого страдал его разум. В это время я начала бороться за Райнера: мне казалось, что любая работа, самая заурядная деятельность была бы для него лучше, чем опустошающее ожидание, когда он только и делал, что осыпал себя напрасными упреками (впрочем, эта потребность в самобичевании сама по себе приводила его в отчаяние). Кончилось тем, что мы назвали в шутку эти метания «решением стать бродячим почтальоном». Мы годами притворялись наигранно беззаботными, поскольку тот неумолимый рок Райнера, что прорывался иногда наружу в виде отчаяния или болезни, все же приносил с собой восхитительные моменты, которые, увы, облекались в несбыточную мечту.

Всюду мы появлялись вместе, две наши судьбы давно уже тесно переплелись, и все у нас было общим. Райнер полностью разделил ту скромную жизнь, которую мы вели на опушке леса в Шмаргендорфе, недалеко от Берлина; за несколько минут по лесу можно было выйти в сторону Паульсборна, и когда мы гуляли босиком, как приучил нас мой муж, к нам подходили ручные косули и обнюхивали наши карманы и подолы пальто.

В нашем небольшом доме кроме кухни и библиотеки мужа была еще только одна комната, служившая салоном, и Райнер частенько сиживал со мной на кухне и наблюдал за моей стряпней, особенно когда готовились его любимые блюда — русская каша или борщ; в нем почти ничего не осталось от того балованного дитяти, который некогда рыдал при малейших лишениях и жаловался на скудное содержание. В своей неизменной косоворотке с красной застежкой на плече, он помогал мне колоть дрова или вытирать посуду, не отрываясь от разговора о наших «штудиях». Хотя эти «штудии» и касались множества вещей, предметом истинной его страсти — для него, с головой ушедшего в русскую литературу, — были русский язык и культура, в особенности после того, как мы всерьез решили посетить эту страну. В конце концов, в 1899 году на Пасху мы втроем поехали в Санкт-Петербург к моим родным, а затем в Москву; через

год мы с Райнером проехали по российской глубинке.

Несмотря на то что в первый наш приезд мы так и не побывали в Туле у Толстого, именно благодаря его образам для нас открылись двери России. Хотя уже Достоевский показал Райнеру всю глубину русской души, Толстой стал в его глазах наивысшим воплощением русского человека благодаря поэтической мощи, пронизывающей все его описания. Наша вторая встреча с Толстым в мае 1900 года состоялась уже не в его зимнем доме в Москве, как в первый раз, а в его поместье Ясная Поляна, что в семнадцати верстах от Тулы. Конечно же, понять его душу во всей полноте можно было только в деревне, а не в городе, в рабочем кабинете, даже если этот кабинет своим деревенским стилем явно контрастировал с остальной обстановкой в особняке графа. В своем же поместье хозяин как бы открывался нам заново, когда он спокойно латал рубаху или что-то мастерил, или сидел за фамильным столом перед тарелкой каши или щей, весьма контрастировавшими с изысканной пищей остальных домочадцев.

Самым сильным, самым ярким для нас впечатлением стало событие, которое произошло во время небольшой прогулки втроем. Толстой спросил у Райнера: «Чем вы занимаетесь?» — и когда тот ответил: «Пишу стихи», обрушил на него целый водопад резкостей, развенчивающих любую поэ-

зию, но у ворот фермы наше внимание было полностью отвлечено от этой гневной филиппики завораживающим спектаклем. Пришедший издалека странник, почти старик, подошел к нам. Он не попросил милостыни, он просто пришел поприветствовать писателя, наверное, так, как все, кто с той же целью отправляется в паломничество — посетить храмы и святые места.

Тем летом луга были сплошь усеяны невиданными по высоте и красоте цветами, каких не сыщешь нигде, кроме России; даже под сенью леса болотистые места были укрыты невероятно высокими незабудками. Воспоминания об этих цветах навсегда запали в мою память и ассоциировались с ярким образом Толстого — как он, внезапно прерывая оживленную и поучительную беседу, резко наклонялся и хватал рукой, словно ловил бабочку, пучок незабудок, яростно прижимал их к горящему лицу, словно хотел вобрать их в себя, а потом небрежно бросал на землю. Издалека к нам долетали почтительные приветствия крестьян, казалось, на все лады они говорили: «Как я рад, что мне довелось видеть тебя». И я тоже произнесла эти слова благодарности и признательности, вложив в них все те чувства, которые мы испытывали: «Как мы рады, что нам довелось увидеть вас!»

Может, именно этот момент отчасти и поспособствовал странной прихоти Райнера, желавшего ви-

деть теперь в любом мало-мальски характерном мужике возможность союза простоты и глубины. И он был не так уж неправ, как, к примеру, в Третьяковской галерее в Москве, куда мы пошли в сопровождении нескольких мужиков. Перед большим полотном «Коровы на лугу» один из них недовольно произнес: «Коровы! Невидаль какая! Нам-то какое дело?» Другой с хитрым видом перебил его: «Они нарисованы, потому что тебе есть до них дело. Потому что ты должен их любить, так-то. Для этого они и нарисованы. Ты должен их любить, хотя тебе с того никакого толку. Так-то вот». И сам поразившись собственному объяснению, мужичок повернулся, вопросительно глядя, к Райнеру, стоявшему с ним рядом. Вне себя от радости Райнер энергично воскликнул на своем плохом русском: «Ты *знаешь* ***это***!»

И наконец мы прибыли туда, где у Райнера не могло не сложиться более властного и устойчивого впечатления от встречи с Россией: он нашел «родину своей души» в пейзажах Волги, в ее людях, в ее свободном потоке с юга на север, там, где мы устроили временное пристанище после посещения Ярославля. Здесь судьба предоставила нам случай по-настоящему вобрать в себя запах русской избы. Молодая пара, построившая эту избу, уже почерневшую от дыма и непогоды, сдала нам угол. Круглая скамья, самовар, на земле — большой мешок сена, рядом у пустого стола — еще одна копна, при-

надлежавшая соседке-крестьянке: нас веселили даже такие мелочи, что наш стог был больше...

Стоило ли нам покидать борт корабля? Воспринимали ли эти крестьяне нас как своих гостей? Во всяком случае, знаменитый крестьянский поэт Дрожжин был нашим гостем в этом доме. Не были ли эти мгновения целыми книгами, наполненными впечатлениями, пробуждавшими в нас постоянный интерес? Не так ли мы сами провели многие годы? Было ли это на самом деле днем, неделей, от силы месяцем? Все это сконцентрировалось в образе одного-единственного часа, одной-единственной избы. Мы жили тем, что жило здесь: мы встречали утро на пороге, сидели перед самоваром, спокойно дымящимся на земле, и весело разглядывали кур, выходивших из соседних изб; самые любопытные из них переминались с ноги на ногу, будто хотели предложить нам по яйцу к чаю.

«Стоянка-изба» как бы символизировала собой часть того, чем стала для Райнера Россия и что явилось для него предвестием России. Эта изба, с искусно резьбленой крышей, символизировала место и время обретения им нового дыхания, того самого, в котором мы так нуждались и которого, увы, не было до начала нашего путешествия. Здесь жил народ, привыкший к страданию и нищете, народ, чья глубокая натура сочетает в себе смирение и веру. Райнер как бы вживался вглубь этого народа, в его историю, в его внутреннюю готовность принять все

происходящее. Предопределенность судьбы народ называет «Богом»: это не власть, со своей высоты прощающая грехи, а лишь присутствие невидимой защиты, которая не допустит последнего уничтожения, — русский Бог Лескова, который «живет в левой подмышке». И хотя Райнер не принял этого Бога, все же в русской истории и теологии он нашел горнило, где растворились самые глубокие внутренние тревоги и усилия, крик отчаяния и хвалебный лепет. Вначале было слово — была молитва.

Не стоит вводить себя в заблуждение видимостью противоречий в различных главах «Часослова», где речь идет об одном и том же Боге, которого Райнер позаимствовал у русских: в особенности это касается соотношения божественной веры и божественной защиты, парадоксально сосуществующих в человеке, который верует, создает Бога и в тот же самый момент является тем, кто обязан брать Бога под защиту.

Ты выпал из гнезда,
Крохотный птенчик на крохотных лапках,
И меня молят о помощи твои глаза.
(Моя рука для тебя велика.)
С моего пальца капает капля воды,
Я жду, когда ты утолишь свою жажду,
Я слышу, как бьются наши сердца
От тоски, которой не будет конца.

И сразу после:

Мы возведем тебя дрожащими руками,
Атом за атомом, камень за камнем,
Но кому под силу достроить тебя,
О великий собор?

Во всем этом еще нет внутреннего противоречия, этот пыл набожности не имеет границ, и нет такой стихотворной строчки, где бы этот пыл не прорывался наружу, позволяя божественной силе войти в нее, подобно неуловимой первооснове, несущей гармонию.

Бесспорно, что именно этот пыл и молитва формируют все то, что живет в нас, образуя мир чувственных образов сознания: то, что благодаря им превращается в глубочайшую сосредоточенность, собранность; то, что связывает в некий клубок все проявления восторга (пусть даже их вызывают далекие от предмета разговора вещи, например секс или общественное положение). Ибо что является даже для верующего существа основой понятия «Бог»? Прикосновение того, что мы еще способны принять верой, но что уже ускользает от доводов нашего разума и уже не кажется нам частицей нас, пусть даже мы пытаемся вернуть это в нас снова, точно так же, как охотно уступаем соблазну дать этому имя, поместить его в самом сокровенном уголке собственной сущности.

Но молитва, как производная пережитого религиозного экстаза, предполагает сама по себе существование в нас на грани выносимости внутренней скорби, внутреннего ликования, уязвимости и благоговения. И когда на этой высоте молитва становится поэзией, непроизвольным актом творчества, брызжущей через край силой экспрессии, в самой глубине души человека происходит нечто парадоксальное: причина и следствие меняются местами. Это значит, что словесная формула, которая всегда вторична, перестает соответствовать пережитому опыту и преобразует содержащиеся в ней чувства облегчения и освобождения во вдохновение и цель, которые уже не служат друг другу.

Эта склонность Райнера поразительно ярко проявилась с самого начала работы над «Часословом» во время первого путешествия в Россию, но истинная проблема со всей определенностью встала только во время нашего второго приезда, во время наших странствий и встреч — тогда-то Райнер и смог беспрепятственно уйти с головой в свои впечатления о «его» России. Впоследствии он горько сожалел, что глубина этих впечатлений почти не оттенялась огромным количеством молитв, но это оттого, что он их переживал: молитва и ее словесное воплощение наслаивались друг на друга как единственная неразделимая реальность, что

обрела законченную форму; и то, что начало исчезать — частично или полностью — на уровне художественного произведения, с небывалой силой проявлялось в самом Райнере, в том невероятном зрелище, которое в определенные моменты разворачивал перед нами его внутренний мир. И тем не менее он постоянно замыкался в ожидании и тревожных поисках наивысших форм выразительности, которая смогла бы подчеркнуть изреченное слово, придав ему самодостаточность. Он буквально разрывался между нетерпеливым желанием, незримо присутствующим в его словах, его символах, — желанием упасть на колени перед каждым из своих ощущений, чтобы излить себя в поэтических формулах, — и желанием противоположным — не впустить в молитвенную тишину своей души творческий порыв. А стало быть, он часто оказывался в неизменном положении узника тюрьмы безмолвного внимания и одновременно в положении пассажира, сидящего у окна скорого поезда, проносящегося без остановок мимо городов, деревень, пейзажей и картин, к которым он никогда не сможет вернуться. Спустя годы он станет говорить, как о чем-то непоправимом, о провалах в памяти, оставленных временем, сравнивая их с тем, что случается с воспоминаниями о раннем детстве, и читать стихи своим низким, спокойным голосом:

Пусть он заново познает свое детство,
Несмышленое и полное чудес,
И бесконечно мрачные легенды
Тех первых лет, полных обещаний.

С этим было связано тайное желание «вернуть свое детство», страстное желание видеть, как оно всплывает в памяти, подобно видению, хотя поток этих воспоминаний и заставлял его пятиться в ужасе. Но стоило только преодолеть эту дрожь, предваряющую всякое движение вглубь, — и вот перед ним его раннее детство, пронизанное тем изначальным чувством безопасности, которое не нуждается ни в каких страховках и гарантиях. Именно это ощущение, и только оно, вызвало тот заряд свободы в книге, которую ему предстояло написать.

Я верю во все то, что еще не сказано.
Я хочу выпустить на волю свои самые
сокровенные мечтания.
Однажды я, сам того не желая, сделаю то,
Чего еще никто не дерзнул желать.
И да простит меня Бог, если это высокомерие,
....
И если это гордость, дай мне быть гордым,
Произнося молитву.

Даже если всякий творческий процесс порождает дух соперничества между человеком и творцом

в человеке, пусть даже мы знаем, сколько в нем от первого и сколько от второго, Райнер считал, что предметом его искусства был Бог сам по себе, Бог, подающий знаки о своем отношении к тайникам его жизни, ко всему самому безымянному, лежащему по ту сторону осознания своего «я». Его миссия — художника, творца — проникнуть невыносимо глубоко, затронуть все самое человечное, всю слабость, туда, где эта миссия может потерпеть фиаско, где спрятано то, чья суть совпадает с Объектом его творчества.

Так мы можем понять отчаяние Райнера как его фатальную черту: не как простое беспокойство ранимой души из-за потерь и утрат, сопровождающих любую жизнь, не как тоску всех мало-мальски артистических натур из-за временного угасания их творческой силы, которой невозможно приказать, а как **абсолютное** отчаяние существа, поглощенного бездной, в которой также исчезло то, что, не будучи частью нас, руководит нами и всем остальным.

Учитывая это, становится понятным, какой удачей для Райнера было знакомство с Роденом, творцом, подарившим ему реальность такой, какая она есть на самом деле, не искаженную сентиментальностью сюжета; он научил его, пользуясь моделью, совмещать многогранность творчества с многогранностью жизни, единые заповедь и закон которой — «работать не покладая рук» — побуждали

его создавать вещи не от душевной тоски, от которой он искал убежища, а восторженно созерцая свою «modele» (отображаемый предмет). И пока Райнер приучался работать, посвящая себя конкретным занятиям, оставляя в стороне свои сиюминутные настроения, его обыденная жизнь, размеренная и загруженная занятиями и работой над книгой, постепенно подчинялась единой и верховной власти искусства. Уже давно он, полный надежды, рвался к этой цели, еще со времен кружка художников в Ворпсведе, когда Клара Вестхофф, ученица Родена, вышедшая вскоре за Рильке замуж, показала Райнеру работы учителя. Вне всякого сомнения, после переезда в Париж его душевная тоска дошла до высшей точки, пока не исполнились его горячие мольбы навсегда поселиться у Родена, полностью ему принадлежать, быть, по крайней мере для видимости, его личным секретарем, маскируя отношения близких друзей, которым оба отдавались беззаветно: ведь Роден был первым, кто подарил ему мир вещей как единое целое.

И не только мир вещей: господство над фантомами, рожденными из его кошмаров, надо всем самым ужасным, отвратительным и дьявольским, что возникало в его бредовых видениях. Если раньше его обостренная и патогенная восприимчивость изнемогала под тяжестью внутренней тоски, то теперь, как художник, он, погружаясь в тоску, дистан-

цировался от нее, причем таким образом, что его всевозрастающий талант даже позволил ему осуществить посредством нее прорыв к свободе, пусть даже через произведение, лишенное этой тоски. Как все-таки вышло, что он смог постичь это только благодаря руке и дисциплине Родена? Исключительно потому, и не стоит об этом забывать, что для того, чтобы преодолеть внутреннюю нерешительность перед созерцаемым предметом из реальной жизни, Райнеру требовалось огромное усилие духа, заключавшееся в полном сосредоточении на этом предмете и абстрагировании от самого себя. Пусть подавленное, но подспудно, так сказать, неуловимо существующее чувство уже, может быть, сто раз отомстило бы, так или иначе деформируя реальность, и вырвалось на свободу, захлестнув его своей негативной волной, как в старые времена. Но как только ему удалось подойти к этому творчески, он открыл для себя двери новой сферы удовольствия. Это состояние удовольствия, начинавшееся с его первых успехов, осталось осознанным только наполовину. (Бесспорно то, что эта грань творческой свободы еще больше подталкивала его к опасности впасть в «расправу над вещами» в моменты разочарования, когда он называл себя бездарностью.) Позже, в 1914 году, Райнер назовет творцом того, кто хоть и не вынужден «растворить в себе все то, что он не властен подчинить, но в действительно-

сти делает это постоянно, чтобы извлекать субстанцию из того, что он изобретает и чувствует: из вещей, животных — почему бы и нет? — и, если это нужно, даже из чудовищ». Можно добавить: из собственной «чудовищности» тоже.

Несмотря на его огромную привязанность к Родену, чувствовалось, в какой степени природный дар Райнера — ибо он сам создал для себя свой образ Бога — диаметрально противоположен роденовскому.

Совершенно очевидно, что и их личные отношения не могли длиться долго, ведь малейшие, даже случайные недоразумения оставляли в них трещину. Для Родена проблему решало его блестящее здоровье и энергия, а так как первейшая задача жизни есть служение искусству, все, включая минуты беззаботной радости и разрядки, соединялось, чтобы обогатить его искусство. Для Райнера перенять манеру Родена означало превратить акт творчества в пассивное самоотречение, безоговорочное повиновение мэтру, который им руководил, и это ему отчасти удалось, в частности, благодаря собственной внутренней противоречивости, которая была его спасением, подавляя всплеск эмоций холодной властью цензуры.

Вот почему ничто, до довольно позднего появления его блистательных «Элегий» и «Сонетов к Орфею», не могло дать такой сильный толчок

творчеству Райнера, как описания *бедняков-которые-богаче-всех*: хотя бы, для примера, эти судьбы влюбленных женщин, которые, насколько бы трагичными они ни были, все же привели к полному самоотречению, а значит, к истинному владению собой. В «Первой Элегии» он так говорит о них: «Смотри на них, завидуй им, — покинутые женщины, чьей душе, переполненной любовью, нет успокоения» (см. об этом также «Сонеты с португальского», «24 сонета Луизы Лабе», «Письма Монахини» и т.д.)

В те годы, когда рождались «Элегии», отрывки из коих Райнер мне присылал, ему пришли в голову слова — в них весь Райнер, — которые поют хвалу человеку действия, как и влюбленному человеку, с большим жаром, чем человеку искусства. Так, в едва зарождавшейся «Седьмой Элегии» появилось четверостишие, озаглавленное «Фрагмент»:

Вот герой устремился вперед чрез препоны любви.
Каждая из них возвышает его все больше.
Сердце с каждым ударом рвется вперед, вот, вот,
Но стоит вздохнуть безотчетно,
Как новая преграда пред ним встает.

Едва закончив «Мальте», Райнер решил больше не писать и в некотором смысле переместить то, что было его книгами, в плоскость, повернутую

к реальности, к жизни. Я почти дословно вспоминаю нашу беседу летом пополудни в нашем саду. Мы вышли поговорить о том, что существует тип влюбленных, который черпает силу в иллюзиях своей любви, и о том, что чем более безответной она остается, тем мощнее и плодотворнее ее творческий потенциал. Райнер просто взорвался стоном отчаяния: да, создавать и иметь силы создавать — это родник творческой энергии в душе человека, нужно только доказывать себе, что наивысшее творение человечества существует, как доказывают себе это влюбленные! Но то, что создает художник, стоит по ту сторону дорогих ему предметов, и именно оттуда он черпает свое вдохновение. И каждый раз, когда оно покидает его, он сам теряет смысл. Ибо все сущее (все то, что существует) о нем даже не ведает и в нем не нуждается: он один нужен себе, чтобы познать самого себя. Причиной того, что для Райнера еще со времен его юности невыносимым мучением было ожидание часов подъема работоспособности, было его хрупкое здоровье: не только тело было подорвано этим ожиданием, все осложнялось его истерией. То есть вместо обычной подготовки к работе, когда художник колеблется, как начать, у него возникали приступы повышенной чувствительности и раздражительности, боли, доходящие до кризисов и спазмов тела. Райнер называл это, иногда в шутку, — хотя

чаще всего это терзало его до отчаяния, — «своей неуместной писаниной», а свое тело — «хитроумной обезьяной». Это значит, его боли проникали даже в чисто психические области: он позволял захлестнуть себя этим всплескам, которым не было оправдания и которые повторялись с такой силой и упорством, что он, должно быть, забывал, с каким жаром он отдавался своей настоящей жизни, понимаемой им в такие моменты как «обезьянничание». Однако самыми болезненными были часы, когда судьба преподносила ему неподдельные подарки, когда он бывал окружен состраданием, добротой, уважением, дружбой. Его буквально обволакивали этими чувствами, даримыми с такой красотой и величием, но он, истинный Райнер, горько плакал в душе, что вызывал их; он тем не менее воспринимал их только как легкое опьянение, некую помеху, имитируя видимость того, что он их принимает, хотя его внутренний мир творца так и оставался чуждым этому блаженству.

Я думаю, все это можно отнести на тот счет, что некогда Райнер увлекался оккультизмом и возможностями медиума, трансцендентными значениями слов и влиянием мертвых; он выводил из этого подобие символов существования и некое совершенное знание, которым пытался наполнить эти символы. В спокойные периоды он отметал все это, отторгал почти с дикой яростью.

Больше всего меня потрясло то, что даже когда у него появились ученики — в буквальном смысле слова (немецкий термин Funger — «ученик» — означает также «тот, кто младше»), которым он был наставником и другом, у него оставалось подозрение, что это какая-то мучительная обязанность, и он только имитировал себя. Он не просто казался проводником и опорой, он был ими реально, но в то же время эта функция неумолимо казалась отображением его напрасного стремления быть собой. Отсюда он черпал свою значимость; к тому же его старая мечта «стать провинциальным доктором» и жить среди больных и бедняков усиливалась тем, что он, действуя как Спаситель, хотел материализовать и обеспечить себе собственное спасение, чтобы в него верить.

Промежуточность положения между даром творить и необходимостью принуждать себя пользоваться им, что превращало его в «карикатуру», некую имитацию — вот в чем зловещая судьба Райнера. Не стоит путать это с теми относительно безобидными минутами, когда люди исключительной этической чистоты или стремящиеся достигнуть морального совершенства в минуту слабости бросаются с головой в успокоительную иллюзию, в которой они себя же затем упрекают; для них это всего лишь прямая, на которой их душа становится то лучше, то хуже. Но у Райнера это носило отпечаток такой бескомпромиссной серьезности, что выходи-

ло за рамки морали, если только его собственные законы и запреты не аннулировались доктриной о предопределенности свыше. Ведь самым ужасным в судьбе Райнера было то, что она (судьба) даже не позволяла ему убедить себя, что у него есть право роптать. Во всем, что возносило его над ним самим, когда он творил, или в том, что увлекало его за собой, одновременно защищая, в самые сокровенные глубины, было не меньше принудительного и рокового, чем в том, что распыляло его на псевдоактивность или на пустоту великой бездеятельности. Это обстоятельство еще в ранней юности подтолкнуло его искать, увы, бесцельно, свое спасение в гипотезе, что он, такой, какой есть, был предопределен еще до рождения: скопище недостатков, которым он всегда был и которые, хотя он это горячо отвергал, всегда составляли часть его ценности. С особой силой все это сосредоточивалось на его матери. «Подумать только, я ее сын; и в этом вылинявшем осколке стены, стены, которой уже нет, — есть потайная дверца, почти не различимая, давшая мне выход в этот мир! — если предположить, что это был действительно выход в мир...»

Пусть эти строки и кажутся в высшей степени личными, не стоит их так понимать, потому что только страсть преувеличения делает понятным смысл суждения: оно переносит в сферу имперсонального, почти в миф, все то, от чего Райнер хотел

освободиться. Несколько лет спустя, когда мы втроем столкнулись в Париже, он был немало удивлен, что его мать не так уж ужасна, как ему виделось ранее, мне же она показалась скорее крайне сентиментальной. Его отвращение исходило от отчаяния, так как он не мог отделаться от навязчивой идеи видеть в матери смехотворно деформированное отражение самого себя.

...Бунт Райнера против личности его матери лишь в слабой степени иллюстрирует то, что в нем с величайшим ужасом противилось, когда его подлинная сущность, тронутая благодатью, этой привычкой фантома, создавала видимость того, что эта личность становилась им самим, — вечной материнской глубиной небытия.

«Смерть, — утверждал он, — лишь иная, невидимая и неосветленная сторона жизни. Мы должны стремиться к высшему сознанию нашего бытия, которое чувствует себя дома в обеих неразграниченных между собою сферах бытия и питается из неисчерпаемых источников... Истинное объемлет обе сферы...»*

---

* Возможно, никто не постиг эту тайну Рильке глубже, чем Марина Цветаева, которая писала к нему: «Тот свет... ты знаешь лучше, чем этот, и знаешь его топографию со всеми горами, островами и замками. Топография души — вот что ты такое. И твоей книгой про бедность, молитву и смерть ты сделал для Бога больше, чем все философы и проповедники в мире... Бог. Ты один сказал Богу что-то новое». — *Прим. пер.*

Когда я представляю себе людей со стихами Райнера в руках — не таких, что лениво глазеют на них, как иные на картины в музее, — меня пронзает мысль о том, *какое* побуждение в них воплощено: побуждение к сотворчеству и совместной *радости.* Мне кажется, что и они, глубоко сопереживающие, не могут не воздать должное жизни, беды и борения которой вылились в это великолепие, ожившее в *их* душе. *Более того*, можно утверждать, можно утверждать, что художник *сам* в них воздает должное всем пережитым им несчастьям: не подлежит сомнению, что торжество Элегий было для него праздничным утверждением своего отчаяния. Тайна в том, что его концепция искусства не отрицает взаимосвязи между ужасным и прекрасным. То, что происходит за непроницаемой завесой, вершится под знаком призыва, прозвучавшего еще в «Часослове»:

Пусть будет все: и красота, и ужас.

Кто видел, как это происходит, тому глубоко в душу запало знание о неизбывности пронзительного одиночества Райнера, которое лишь на горных вершинах только на мгновение щадящим жестом закрывало ему глаза, чтобы он не видел пропасти в которую прыгал. Кто видел, как это происходит, тот не пытался вмешиваться. А лишь взирал бессильно и благоговейно.

Апрель — наш месяц, Райнер

Месяц, который соединил нас. И если апрель заставляет меня столько думать о тебе, это не случайность. Он вмещает в себе все четыре времени года, со всеми их проявлениями — запах зимы и снега перемешан с припекающими солнечными лучами и осенними ливнями, которыми влажная земля поит бесчисленную рать потрескавшихся почек, и разве постоянно в земле не пульсирует весна, эта весна, которую ощущаешь, еще не увидев? Именно из этого всего родились тишина и очевидность, которые связали нас как нечто давнее-предавнее.

И если я была твоей женщиной годами, то именно потому, что ты был для меня первой реальностью — когда тело и душа неразделимы как бесспорный факт самой жизни.

Я могла бы повторить тебе слово в слово то, что говорил мне ты, заверяя свою любовь: «Ты единственно настоящая». Мы стали супругами раньше, чем друзьями, а сдружились не по выбору, а повинуясь узам заключенного в неведомых глубинах брака. Это не две нашедшие друг друга половины, а тот случай, когда целое с трепетом узнает себя в другом целом. Нам суждено было стать братом и сестрой, но еще в те мифические времена, когда инцест не превратился в грех...

Странное дело: вопреки нашей общности душ и невзирая на всю их музыкальность, певучесть,

я совсем не понимала твоих первых стихов (потому-то ты меня и утешал, что все же сможешь когда-нибудь написать так, чтобы я тебя поняла). Но было одно чудесное исключение среди стихов, которые ты мне посвятил; и когда ты принес тот листок в мою комнату, в восхищенном порыве мне захотелось повторить тебе все твои признания, разве что без рифмы и в прозе. Разве не жило в нас обоих это таинственное заклинание — в нас, которые жили телом и несли его в крови, в каждом жесте своего существования. И потому по моей просьбе этому стиху нашлось место в «Часослове», появившемся через годы:

Нет без тебя мне жизни на земле.
Утрачу слух — я все равно услышу,
Очей лишусь — еще ясней увижу.
Без ног я догоню тебя во мгле.
Отрежь язык — я поклянусь губами.
Сломай мне руки — сердцем обниму.
Разбей мне сердце — мозг мой будет биться
Навстречу милосердью твоему.
А если вдруг меня охватит пламя
И я в огне любви твоей сгорю —
Тебя в потоке крови растворю.

(1897)*

* Перевод А. Немировского.

Меня страшно расстраивало, что твоя поэзия в большинстве случаев не захватывает меня, и когда мне пришлось ненадолго покинуть Вольфсратсхаузен, чтобы выехать в Галлейн, куда меня звала заранее запланированная встреча, даже светло-голубая метель твоих ежедневных писем, преследующая меня синей печаткой, не могла поднять моего настроения. Но все моментально изменилось, стоило мне получить то чудное письмо, заполонившее меня радостью воспоминаний. Ты задумал средствами почты воскресить для меня нашу маленькую комнатку на нижнем этаже, где ты с комичной тщательностью закрывал деревянные ставни, чтобы не позволить никому подсмотреть, и делал это так старательно, что только единственная звездочка, пробивавшаяся сквозь деревья, доносила до нас капельку света извне. И когда мне принесли ту лирическую открытку, непроглядно черную от чернила, на которой ни слова не было написано и лишь выразительно светилась единственная крохотная звездочка вверху, сердце мое взмыло в груди радостно и окрыленно, готовое реально принять ее за путеводную звезду на небосклоне, волшебную и прекрасную и — рядом с подписью «Рене Мария» — такую настоящую!

И все-таки этот веселый случай не мог бесследно развеять непонимание. Я остро ощущала его, возвратившись. Мы думали про наши звезды, скло-

няющиеся к нам или отворачивающиеся от нас без поэзии и прозы, и их реальность — блаженно-веселая и глубоко серьезная — не поддавалась полному выражению ни через какую экзальтацию и взрыв чувств. Из всего, что было из нашей переписки полностью или частично уничтожено, этот фрагмент моего ответа на твою «звезду» сохранился на десятки лет в пожелтевшем конверте из Вольфсратсхаузена:

Когда твое письмо мне принесло
Благословенья нежность,
Я ощутила вдруг, что в мире нет далей:
Во всем прекрасном ты приходишь мне навстречу,
Ты — мой весенний луч, мой летний дождь,
Ты — ночь июня с тысячей тропинок,
Где бродит все мое неведомое завтра:
В тебе я существую!

В последующие годы, по праву названные тобой «нашими русскими годами», эти тропинки нашего «неведомого завтра» еще вовсе не были нами протоптаны. И когда я возвращаюсь мыслью к этому периоду, сам выбор наших троп кажется мне магическим. Он позволил нам погрузиться в ту глубину, что звалась Россией для нас: мы проводили дни напролет в учениях и приготовлениях, надеясь на «русское откровение», когда еще невозможно бы-

ло определиться со временем путешествия, когда мы еще не имели четкого представления об этом. Но уже казалось, что мы коснулись всего этого сами, собственными руками; что-то проникало уже мощно в твою поэзию, но это что-то было еще безответственным: ему предстояло еще пережить желанную символизацию, как дар под российским небом, чтобы стать физическим символом того, что было в тебе и что толкало тебя к громкому крику освобождения твоей внутренней экзальтации. Этот крик был зовом к Богу как месту, где пространство сворачивается до единой картины, внутри которой царит неизмеримость в самой маленькой вещи и каждая вещь становится выражением боли поэта в гимне или в молитве.

Сначала то, что мы переживали в России, даже не требовало своего выражения: оно изливалось в чувствах непринужденно и полностью; литературное отражение этот опыт обрел позднее. Такие обстоятельства приводили к созданию того или иного пережитого мифа, часто — на почве совершенно неприметных событий. Невозможно было бы никому пояснить те детали, которые нас так сближали. Например, раскрыть значение того луга возле села Крест-Богородское в предвечернем солнце, или коня, возвращавшегося с вечерним стадом домой и, как наказание, тащившего за ногой полено. Та лошадка — как же живо подскочила

она ко мне! Как теперь я ее вижу, свободную и одинокую, как ты, путы с которого сняли деликатнейшие из невидимейших рук — ах, Райнер, все это, будто сон, эта изумительная уверенность, что жизнь так чудесно упорядочена, что существуют деревья, «на которые садятся крылатые ангелы», что «ни легкомыслие птицы, ни зависть червя там, внизу» не в состоянии сделать ничего плохого «медленно дозревающему плоду»... Ты вспомнил этого коня, вскочившего прямо в твое «распахнутое чувство» в своих «Сонетах к Орфею» :

А Тебе, Боже, что посвящу я?
Ты творений ухо лепил в своих гармониях —
Это воспоминание весеннего дня,
Сумерек весенних в России — коня...
Из села летя, заблудился сивый,
С колышком, влачащимся у ног,
Чтобы ночь провесть, встряхивая гривой,
На лугах...

А помнишь еще комнату позади Кремля, где мы словно погрузились в язык могучих колоколов, хотя те и молчали, ведь в России они всегда молчат, даже тогда, когда их раскачивают.

Нередко бывает так, когда два впечатлительных существа усиливают восприятие друг друга — чужое впечатление изнутри пронзает душу, словно

собственное. И тогда этот удвоенный резонанс придает ощущениям беспримерную уверенность и твердость. И глубину этого сопереживания не уменьшало то, что для меня позади всех ощущений стояло нечто иное, чем для тебя: непосредственная радость открытия родины, которое мой ранний отъезд за границу отложил для меня на многие годы. Для тебя же это был новый творческий подъем, перемена, происходящая в твоем поэтическом бытии, вновь открывая то, чего ты так ждал, и если твоя дальнейшая жизнь отступалась от этого открытия, тебе грозила утрата твоей оригинальности.

Через много лет, когда по разным причинам возникший перерыв в твоей работе утомлял тебя до боли, ты часто говорил о своем желании подарить какому-нибудь предмету, какой-нибудь увиденной вещи «мистическое», «мифическое нутро», характер, — и это походило на старание «возродиться», дабы покинуть боль и страх. И тогда ты думал о нашем «русском взаимоусилении» как о чуде, которое наперекор всему могло бы еще существовать!

Тогда для нас было ясным и естественным существование этого чуда, и нисколько ни мистичным — это была реальность из реальностей, так что мы могли только обращаться к ней без конца. Именно она вдохновила, Райнер, твои веселые стихи, когда мы находились на двух разных «духовных полюсах» во время долгого путешествия по Волге,

и ты промолвил с полной искренностью: «Даже на самых далеких друг от друга кораблях мы пойдем одной дорогой, чтобы подняться по реке, — ибо это наш общий исток, вечно нас ждущий».

Когда я об этом думаю, мне хочется продолжать говорить тебе и себе самой о **жизни,** словно именно таким способом впервые можно понять поэзию не как ремесло, а как «чудо жизни», происходящее здесь и сейчас и ощутимое почти кожей тела. То, что поднималось, восходило в тебе, незаметное тебе самому, непосредственное и живое как молитва, должно было сохраниться для той, которая была подле тебя, как незабываемое открытие до конца ее дней. Оно охватывало все, чего бы ты ни касался; все материальное преображалось внутри тебя в божественное, и это твое детское самозабвение, с которым ты встречал и напаивал доверием каждый час на протяжении дня, превращало каждый из этих часов для тебя в совершенство. Наши дни были заполнены до краев, иными словами, это был период священных каникул и празднеств.

Каким далеким было от нас поначалу то беспокойное знание о конфликте, который сталкивает между собой нашу способность творить и способность горячо и непосредственно встречать саму ВЕЩЬ, побуждающую к творчеству! Разве человек, растворенный в молитве, способен волноваться о том, могут ли его протянутые в молитве руки

быть сложены еще лучше? Даже если его порыв совсем неумел, разве он не держит в руках своего Бога? Впервые, когда нечто вошло в тебя, то нечто, что слагало твою молитву и чему ты хотел полностью посвятить себя в жизни, — извечное беспокойство о форме, достойной такой молитвы, внезапно растворилось, поглощенное мирным доверием. Но позднее назойливым бумерангом возвращался конфликт между этими двумя никак не совместимыми требованиями: непосредственностью переживания Бога и одновременным приданием ему артистической формы...

Я никогда не могла дать себе отчет, на какой ступени глубины твое внутреннее вызревание готово было проступить наружу. Никогда ты не был таким великим, таким обожествляемым в моих глазах, как в этот час: тяжесть избранной тобою проблемы властно притягивала меня к тебе и я никогда не переставала чувствовать себя завороженной...

И все-таки, все-таки: не была ли я одновременно далеко от тебя? Вне реальности твоих поэтических дебютов, когда мы могли формировать одно целое? Кто может измерить глубину сумерек последней близости и последней отдаленности двух существ?! Я была заботливой и любящей, быть может, самой близкой... и все-таки я была по ту сторону того, что объединяет мужчину и женщину, и такой я была всегда — непоправимо оторванной от

того, что оставалось, и от того, что могло жить и прорастать до твоей и моей смерти.

Я ничего не хочу приукрашивать. Охвативши голову руками, я часто пыталась понять то, что происходило. И я была поражена в самое сердце тогда, когда на старой разорванной газете я прочла эту справедливую фразу: «Я верна воспоминаниям; я никогда не буду верна людям». А твои письма, которые я получала, отлучившись ненадолго к семье в финский Ронгас, были наполнены твоими горькими преувеличениями: ты считал себя почти отвергнутым со своими мольбами. Между нами разверзалась пропасть чистой грусти.

Мой наибольший страх и боль связаны с тем российским воспоминанием — это было во время нашей обеденной прогулки в прекрасном лесу акаций, — как ты не мог спокойно пройти мимо одной из них. Тебя душили воспоминания, пронзали жала ассоциаций с нашими предыдущими прогулками, и ты спрашивал, показывая на деревья: «Ты помнишь?» Я согласно кивала головой, глядя на соседнюю акацию, которая, конечно, не отличалась от прочих. Ты со страхом и недоверием воскликнул: «Эта? Нет, нет, вон та!», и казалось, будто ты галлюцинируешь этими деревьями.

Такой же страх появлялся и тогда, когда ты не мог придать полной формы какому-нибудь впечатлению: это не было ни разочарованием, ни укора-

ми, ни несмелостью (как у большинства людей), нет, это был взрыв, ураган чувств, вихрящихся словно внутри чудовища, — будто ты был обязан сдаться им почти как счастливой минуте творчества. Ты называл это продуктивностью, загубленной в печали, — безнадежным суррогатом сформировать то, что ускользнуло...

Райнер, Райнер, как часто как будто снова я вижу тебя, распростертым на большой медвежьей шкуре, перед открытой на балкон дверью; перелистываемые тобой страницы бросают тень и свет на твое лицо. Я не могу освободиться от этой картины, потому что она явилась передо мной тогда, как непосредственное воплощение фатальной власти творения поэта над поэтом-человеком. Впервые я поняла, что «творение» — кто же теперь родится благодаря тебе и какова будет ему цена? — было твоим законным хозяином. Чего он пожелает? Мое сердце на мгновение замерло, и что-то внутри меня приветствовало будущие Элегии, призванные родиться еще через десяток лет. Где бы ты ни побывал после, куда бы ни бросало тебя десятки лет спустя, это было усилие обрести место абсолютной безопасности, желание полной свободы действий, волей к вечной смене городов: твое стремление не иметь родины достигло своего предела. Теперь, Райнер, когда мы, немцы, политически поставлены перед проблемой нашей национальной самоиден-

тификации, я иногда спрашиваю себя, на какой вершине то откровенное отвращение, которое ощущалось в тебе в отношении необходимости быть австрийцем, могло стать роковым в твоей судьбе? Можно было подумать, что простая любовь к родной стране, ощущение кровного родства могли бы хоть отчасти предотвратить приступы безнадежности, охватывавшие тебя, страшная опасность которых крылась в том, что они высекали в тебе адский огонь самоосуждения. Родная земля с ее камнями, деревьями, зверями таит в себе какую-то камерную сакральность, неприкосновенность, определяющую судьбу человека.

И когда вместо Швейцарии ты выбрал Францию, где Париж уже успел утомить тебя до боли, как почти что новую родину по языку, дружбе новых творческих сил... Я не могу ничего сказать о творческой цене твоих французских стихов, поскольку моему знанию французского недостает чисто галльского лукавства. Но, хоть это несправедливо, признаю — есть много такого, что я не могу прочесть без подозрения: например, когда ты говоришь о разуме «свято утраченного плода». Не принимаешь ли ты за меланхолию наслаждение... богохульства? И еще есть твоя фотография, которая поразила меня в самое сердце как боль, как рана, которую я прячу, — в тот час, когда я получила это фото, я спросила себя с горечью: слагая французские стихи, не потому ли

ты нуждался в чуждой почве для своего писания, чтобы мучительно утешаться тем, что так бесшумно и обманно несло тебя к пропасти?

Как я могла справедливо судить? И все же в глубине души я осуждала твою участь и не могла этому покориться. Я всегда знала, что по ту сторону коронованного судьбой поэта и человека, который разбивался, был кто-то иной, третий, кто-то, кем ты был сам от рождения до смерти, кто-то, кто верил в себя, и даже невзирая на то, кем он сам себя ощущал, это был Тот, кто принял на себя обет быть поэтическим свидетелем существования мира. Всякий раз, встречаясь и беседуя, мы жили в этом постоянном *присутствии,* которое придавало тебе веры в себя, веры, которой владеет существо, остающееся ребенком, который не может заблудиться, ибо устремлен к своему наиподлиннейшему истоку. Тогда *Райнер* снова был там, и из рук в руки этот подлинный Райнер передавал нам ощущение несказанной защищенности, и это состояние окружало тебя поэзией, которая рождалась как вечное сияние. Я не могу думать об этом так, чтобы внутри меня не начинала эхом звенеть музыка самого маленького стиха из «Часослова», который в момент его рождения в тебе, Райнер, показался мне промолвленным ребенком, доверчивым и радостным:

Но движусь я к Тебе навстречу со всех ног,
Ведь кем мы были, не открыв друг друга?

Из переписки

Рильке к Лу Андреас-Саломе
Мюнхен, 8 июня 1897 года

...Очи мои, пылью затуманенные, встретившись с Твоим лицом, вспыхивают тысячью искр, мигают на светлых волнах Твоей души. О Ты, мой чистейший источник! Моя весна, я хочу видеть мир через Тебя, потому что тогда я буду видеть не мир, а Тебя, Тебя, Тебя!

Ты — мой праздничный день. И когда я во сне спешу к Тебе, я всегда несу в волосах цветы. Я хотел бы вплетать цветы Тебе в волосы. Какие? Нет ни одного достаточно трогательного и простого цветка, чтобы он был достоин Тебя. В каком мае я мог бы тебе его сорвать? Теперь, однако, я верю — на твоих волосах всегда есть венок... или корона... Никогда я не видел Тебя иной, нежели такой, на которую мог бы молиться. Никогда Тебя иначе не слышал, как только такой, в которую мог бы верить. Никогда иначе по Тебе не тосковал, как только думая, что мог бы вытерпеть за Тебя. Никогда не желал тебя иначе, как только посметь бы преклонить пред тобой колени. Я твой, словно скипетр, являющийся собственностью королевы, — но я не делаю тебя богатой. Я твой, как последняя бледнеющая

звездочка, принадлежащая ночи, хотя ночь о ней не знает и не догадывается о ее блеске.

Рене.

Рильке к Лу Андреас-Саломе
Мюнхен, среда, вечер, 9 июня 1897 года

И даже солнце после недавней внезапной бури вливается такими светлыми лучами в мою комнату, как будто на самом деле в каждом ее уголке лежит счастье из чистого золота. Чувствую себя богатым, как король, свободным, и в мечтах снова возвращаюсь к каждой секунде того полудня. Сегодня совсем не хочу выходить из дому. Хочу и дальше тихонечко смотреть свои сны и украшать их блеском моих мечтаний про Твой приход, как украшают комнату зелеными веточками.

Стремлюсь раствориться в Тебе, как молитва ребенка в радостном гуле утра. Стремлюсь забрать в мою ночь благословение Твоих рук на моих волосах и ладонях. Не хочу разговаривать с людьми, чтоб не утратить эха Твоих слов, которые, как флаги, трепещут над моими. Не хочу после захода солнца смотреть на другой свет — только от пламени Твоих глаз возжигать тысячи жертвенных огней.

Не хочу ни одного поступка, который бы Тебя не прославлял, ни одного цветка, который бы Тебя

не украшал, не благословлю ни одной птицы, которая не знает дороги к Твоему окну, не стану пить воды из источников, которые не знают отражения Твоего Лица. Не хочу ничего знать про время, что было в моей жизни до Тебя, про людей, что были до Тебя. Хочу этим людям, если они того заслуживают, передать в дар только бледные воспоминания, потому что я настолько счастлив, что не могу быть благодарным. Но слова, с которыми сейчас ко мне обращаются, напоминают мне надгробные надписи, а когда мне высказывают свои мысли, чувствую себя так, словно дотронулся до холодных мертвых букв надгробия. Пусть живут счастливо те, кто умерли для меня, ибо из-за них дорога к Тебе была такой долгой и полной страданий.

Не буду тосковать ни за одним краем, в который не путешествовали бы Твои мечты как чужие чудотворцы.

Сейчас хочу быть Тобой. И сердце мое горит благодаря Твоей ласке, как лампада, что никогда не угасает перед образом Марии. О, Ты!

Зависит от Тебя, кем я стану. Ты одариваешь мою ночь мечтами, утро — песнями, даешь цель моим дням и солнечную устремленность моим пурпурным сумеркам.

Буду Тебе это часто и беспрерывно повторять. Это признание будет во мне дозревать с каждым разом все выразительнее, все четче. Пока не сумею яснее яс-

ного Тебе это объяснить и Ты меня окончательно не поймешь — и тогда настанет наше лето. И будет длиться в продолжение всех дней Твоего Рене.

Придешь сегодня?

Рильке к Лу Андреас-Саломе
17 июля 1897 года

...Очень люблю этот образ*. Эта чистота черт, простота, этот темный поиск во взгляде, который ежемоментно может проясниться благодаря неожиданной улыбке, возникшей на Твоих устах... Более того, тут кроется еще одно из Твоих наибольших чудес: кажется, что Твои глаза натолкнулись на какую-то загадку, через секунду легкая тень их мягко заволакивает словно распростертыми крыльями. И неожиданно улыбка расцветает на Твоих устах, и раньше, чем Твои задумчивые очи их подхватят, переходит на щечки и таится в потемневших веках, пока глаза не вспыхнут горячей, вызволяющей радостью. А потом растет блеск этой улыбки, охватывает всю Тебя, окутывает Тебя каким-то изменчивым ореолом. О, если бы мне было дано своей рукой создать Твой образ — такой, какая Ты есть на самом де-

* Рильке говорит о наиболее известной фотографии Лу, которая была сделана в мюнхенском фотоателье «Эльвира». — *Прим. пер.*

ле, — все дети, проходящие мимо, стали бы перед ним на колени. А я стал бы среди этих детей...

Будь всегда такой ко мне, Любимая, Единственная, Святая. Позволь, чтобы мы вместе поднимались в гору под названием «Ты», — туда, где высокая звезда... Ты не являешься моей целью. Ты — тысяча целей. Ты — все.

Лу Андреас-Саломе к Рильке в Париж
Геттинген, 16 февраля 1913 года

Дорогой Райнер. Как это прекрасно, что ты написал мне, любимый, как раз тогда, когда мои мысли так часто стремились к тебе (а точнее, когда я одержимо вспоминала о тебе). Нужно сразу добавить, что чаще всего по причине погоды. Это звучит удивительно, но что это была за погода! Я еще никогда не переживала в Германии ничего подобного! Целых пять недель наияснейшее солнце, сначала при абсолютно безветренном морозе от 14 до 15 градусов, так что можно было ходить без шляпки и почти что без плаща, а потом от края к краю распростерся весенний, искрящийся, белоснежный пейзаж, выстрелили из-под земли подснежники, зарозовели волнистые сережки лещины, мох зазеленел, птицы ошалели от радости — и вокруг ни единой тучки, все в горячем солнце, солнце, солн-

це. И когда я так каждый день путешествовала на протяжении многих часов, вспоминалась мне твоя тоска о «настоящей» зиме. Когда я получила от тебя толстый конверт, наполненный стихами, охватила меня огромная радость, только я думала, что найду там стихи Анела, однако оказалось, что это не они, но наверняка я найду в новых стихах Верфеля полное очарование обещанной полнозвучности: хорошо, что нет предубеждения, которое ты чувствовал, и ты можешь их независимо оценить — я этому только постепенно учусь. Знаешь ли ты, что после одного из литературных вечеров Верфеля в Берлине Шелер, слушая его произведения, был ими просто потрясен? И не только самими его стихами, но и силой его личности: он говорил, что Верфель как поэт является таким, каким бы он хотел остаться как философ. Может быть, объяснение такого признания скрывается, собственно, в этих словах: «хотел бы остаться». Потому что под этой повсеместно признанной, большой философией Шелера есть что-то, что побуждает его к столь же неистовому поиску спасения, как тебя. Сейчас, собственно, Шелер обретается в Геттингене, он приходил вчера к нам, только меня не застал, потом он провел у нас вечер вместе с Тенкмаром и моей берлинской пациенткой, с которой я занимаюсь психоанализом и которая живет на горе у Ронса. Этой зимой, кроме солнца, для меня самым важным фактором были уди-

вительные выводы и размышления, связанные с психоанализом. Кроме того, я забыла тебе рассказать о чем-то очень для меня важном, что было в ноябре, а конкретно — о посещении Музея египтологии в Берлине. Мы там были втроем: мой муж, Эллен и я, мы немели от восхищения и надолго остались завороженными. Со времени твоего пребывания в Берлине туда поступили новые экспонаты, среди них — голова с поврежденным носом и губами такой красоты, что я неожиданно почувствовала, что в том незнакомце как бы открыла незабвенного друга, который когда-то говорил этими устами. Мой муж хотел сделать с него слепок, но эта вещь разбилась, потому что все они были изготовлены из песчаника, который мог перед этим быть подвергнут какому-то повреждению; опять же, все наши копии выглядят очень слабо из-за различия в материале.

Обратил ли ты внимание на то, что многие резные изображения Аменхотепа IV похожи на тебя? В частности, тот темный барельеф напротив его жены выглядит просто как некий портрет Райнера из мечтаний.

Почему же это твое «с» неожиданно стало таким фривольным? Нет, не могу я себе этого никак уяснить. Но напоминает мне эта буква трепещущее на ветру знамя или же что-то возносящееся к небу.

О, ты, мой любимый!

Лу.

Лу Андреас-Саломе к Рильке
Геттинген, 17 августа 1913 года

Дорогой Райнер.

Только что пришло твое письмо, и я его читаю, сидя над упакованным чемоданом, между пледом, перевязанным ремнями, и несессером, потому что через четверть часа я уезжаю на вокзал. Я не могу тебе описать, в каком чудесном опьянении я переживала вместе с тобой ту встречу с Верфелем. Это прекрасно: стоило только возобладавшему призраку старости овладеть тобой у Родена, как сразу же ее отстранил от тебя вымышленный идеал молодости у другого; в тот момент, когда Роден убегал от тебя аж в четвертую комнату, испуганный и оробевший, молодость твоя готовилась к выступлению, сильная и полная надежды, как восстановление справедливости жизни.

И, собственно, тебе должно было в этом повезти, потому что в тебе абсолютно все претворяется в образ, во внешнее выражение, в созерцательность, должно сразу же стать окончательным действием, потому что все, что тебе встречается, ты переживаешь столь глубоко и подлинно. Потому все становится так сильно твоим собственным. Твоя судьба, со всем, что в ней совершилось, является такой законченной, как внешнее совершен-

ство, которое проявляется в форме постоянного везения, неустанного одаривания себя самого как единственной обратной стороны твоих действий, — отсюда это твое неслыханное богатство, с которым вникаешь в жизнь Верфеля. На всем свете только ты можешь вознести его слово на пьедестал наивысшей правды жизни: ***мы есть***.

Я очень счастлива. Я бы хотела взять твое лицо в свои руки и смотреть на тебя; хотя совсем недавно ты был рядом, снова желаю как в первый раз на тебя глядеть. Все в тебе хорошо, Райнер. Перед тобой одно откровение, и этому нет конца.

Обычно ты только в Берлине сносно себя чувствовал, потому что тело остается всегда только телом, то есть глупым, трусливым, подверженным всяким возможным случаям, и посему не держи на него зла, если иногда кажется, что оно требует чего-то иного, что не соответствует твоему самому глубокому существу, которое только желает выразить себя в знаках и новых свершениях. И тогда тело бунтует болью, как бы желая сообщить: «это превышает силы такого глупого Ваньки, как я».

Столько, столько еще придется вытерпеть, такие муки подстерегают нас по тайным углам, однако будь стоек и спокоен, дорогой мой, дорогой Райнер.

Лу.

Рильке к Лу Андреас-Саломе
Март 1915 года

...Ты только подумай, Лу, мне казалось, что добрый Бог исчерпал для меня свою милость, но вдруг, представляешь, я совершенно незаслуженно получаю экстра-гонорар от издательства «Инзель»... И поэтому ты должна, должна, должна быть моим гостем! Я надеюсь, что мне не нужно ухитряться, чтобы переубедить тебя в том, что мой довод о существовании Бога является бесспорным, не правда ли? Скажи мне, ну разве я смог бы сделать свою жизнь в будущем разумнее и глубже — ежели таковая меня еще ждет, — не начав ее с нашей совместной встречи?..

Лу Андреас-Саломе к Рильке
Март 1915 года

Любимый Райнер, ведь случилось же, что закончился последний день в Мюнхене. Я не увижу тебя больше. И все-таки я всегда буду думать о том, что свершится когда-нибудь счастье общения с тобой где-нибудь в иных сферах, даже если мы о них ничего не знаем. Никогда я прежде не говорила тебе о том, что мне однажды показалось, будто в ясный день, в какую-то минуту чувство нашей внутренней

связи так выросло во мне, что стало почти явью, и мне почудилось, словно я чувствую тебя на расстоянии всего нескольких улиц от меня. Когда мы шли с тобой в последнее мюнхенское утро, я хотела рассказать тебе о том наваждении, но не смогла. Прощай, Райнер, любимый мой, и спасибо за все. Подарив мне целый период жизни, ты даже не знаешь, как горячо я его переживала.

Лу.

Лу Андреас-Саломе к Рильке
1913 год

...Мне известна еще одна тайна исцеления помимо психоанализа и даже стихов. Я называю ее Переломом... Твое тело знает об этом переломе, даже еще раньше, чем ты сам, — тем знанием, которым обладает только тело, — так бесконечно верно и непосредственно, что, в конце концов, может на некоторое время даже привести к какому-то новому противоречию с душой. Знаешь, как это можно распознать? По глазам — по ним, которые выхватывают из тысяч очертаний один-единственный образ, который «еще не любили», потому что они ***жаждут любить***, ломают отведенные природой границы (припоминаешь, что *Ты* когда-то мне об этом рассказывал?) и одним взглядом вступают

в брак. И не только в поэтическом смысле, но и в том прямом, телесном смысле, вплоть до волнения в крови: возбужденная кровь ударяет в глаза, принося боль и напряжение, как если бы хотела в замешательстве превратить их в очаг плоти, в котором скрыто ***телесное*** чудо оплодотворения.

Дорогой мой, дорогой, старый Райнер, мне кажется, что я не должна была бы вообще об этом писать, но, в конце концов, это не только писание, поскольку одновременно чувствую, как будто бы мы сидим где-то рядышком (как в Дрездене над книжкой, когда нам обоим внезапно захотелось вернуться в Мюнхен), прижавшись друг к другу, как дети, что-то шепчущие друг другу на ухо, что-то о большом страдании, или еще о чем-то, что пробуждает доверие. Мне хотелось бы еще много писать и писать об этом и говорить Тебе, и говорить — не потому, что так уж много об этом знаю, а потому что я (как женщина, чувствующая определенным образом иначе, чем Ты) слышу всем своим существом глубокие новые тоны Твоего сердца. Не могли бы мы, не должны были бы мы, не хотели бы мы встретиться где-нибудь — где-нибудь на половине дороги?..

Лу.

ФРЕЙДИАДА

Человеческая жизнь — ах!
Жизнь в глубине себя — поэзия.
Безумны мы, тратящие ее изо дня в день,
От этапа к этапу, — но в своем неосязаемом
Единстве, она живет, она творит для нас поэзию.
Как же далеки мы от древней заповеди:
«Преврати свою жизнь в творение искусства».
Мы не стали нашим творением искусства.

Опыт Фрейда

Есть две совершенно противоположные вещи в моей жизни, которые поразили меня и сделали особо восприимчивой к психоанализу Фрейда: с одной стороны, я хорошо понимала, что у каждого индивидуума есть своя психологическая судьба, таинственная и необыкновенная; с другой — я выросла среди людей, спонтанно выплескивающих вовне свою внутреннюю жизнь. Итак, вторым пунктом стала Россия.

О русских часто говорили — в том числе Фрейд, — что этот «материал», патологический ли, здоровый ли, сочетает в себе две вещи, которые не так уж часто встречаются вместе: простоту структуры и способность в определенных случаях описать даже самые сложные вещи, используя все выразительное богатство языка, находя название самым сложным психическим состояниям. Именно на этой выразительности основана вся русская литература. Не только ее великие, но и менее значительные произведения. Эта безграничная откровенность и прямой, идущий из самого раннего детства отголосок начальных стадий становления, словно бы ведет нас к первоначальной сфере формирования самосознания. Когда я мысленно воссоздаю в памяти тот тип человека, с которым я столкнулась в России, я очень хорошо понимаю, почему сегодня он видится нам более «анализируемым», оставаясь при этом честным перед собой: процесс подавления у него менее глубок, менее интенсивен, тогда как у представителей древних культур он создает барьер между сознанием и бессознательным. Это позволяет лучше понять то, что является центральной и главной проблемой практики анализа: в какой степени наша природная эволюция остается *обусловленной* инфантильными составляющими психики? В какой степени это дает толчок патологической регрессии, заставляя нас от-

катываться на тот уровень сознания, которого мы достигли на предшествующих стадиях, так и оставшихся для нас непреодоленными?

И когда я занялась психоанализом, мне пришлось осознать, что, для того чтобы понять структуру человека здорового, мне придется углубиться в состояние патологии, словно через лупу прочитать то, что у нормального человека спрятано под привычным и нераспознаваемым. Крайне осторожно и кропотливо анализ раскапывал слой за слоем, извлекая на поверхность некие сугубо примитивные элементы, и уже с самых первых ударов кирки великого Фрейда неопровержимость его выводов упрочилась, но чем больше копали, тем больше осознавали, что психический субстрат не только больного, но и здорового человека — настоящая витрина того, что мы называем похотью, насилием и т.п., в общем всего того омерзительного, чего мы больше всего стыдимся. Как бы ни были обоснованы эти выводы и какую бы движущую силу этого обоснования нам ни предлагали, об этом нельзя сказать ничего более позитивного, чем сказал Мефистофель в «Прологе к Небу» о человеке, этом маленьком Боге на земле:

«Он жил бы намного лучше, если бы ты не принес ему отблеск небесного огня;

Он зовет его разумом и использует, чтобы быть большим зверем, чем сам зверь».

Ибо если процесс цивилизации и позволяет преодолеть эту стадию — через случайности практического опыта, то только ценой ослабления инстинктов, а стало быть потерей энергии и жизнеспособности: наш исход — человекозверь, лишенный своей сущности, перед лицом которого животное, в его состоянии дикой некультурности, предстает почти что истинным хозяином земли. Грустная перспектива, которую рисует нам эта точка зрения, — а она едва ли более оптимистична для здорового человека, чем для больного, который мог бы, по крайней мере, мечтать о лекарстве, — сбила с пути многих изучающих психоанализ: она ввергает в пессимизм, который сродни безнадежному неврозу.

Если бы мне было позволено добавить личные замечания, я бы констатировала в первую очередь, что благодаря ориентации, взятой психоанализом с самого начала, я поняла одну очень важную вещь: нельзя позволять себе впадать в общие выводы, провоцируемые малоприятными результатами, к которым время от времени приходишь, а нужно полностью погружаться в тщательное изучение каждого индивидуума и каждого отдельного случая, каким бы ни оказался итог. Именно этого-то мне и не хватало. Меня все еще переполняли впечатления прошлого, а я уже верила, что распознала в типе человека примитивного неразложимую основу

детства, которая даже в зрелости остается нашим тайным богатством. Кропотливо и внимательно останавливаться на каждом человеке необходимо, чтобы избежать опасности впасть в ту «приятную» психологию, которая не ведет к реальности, а позволяет нам резвиться в эдеме собственных фантазмов.

Я никогда не сомневалась, что если мы, сторонники Фрейда, и нажили себе врагов и потеряли сторонников, то только по одной-единственной причине: несмотря на множественность точек зрения, наша внутренняя, совершенно естественная потребность толкает нас получить ответы на вопросы, которые мы бы предпочли оставить в стороне, в подвешенном состоянии, те самые вопросы, о которых мы заранее знаем, что не получим приятный для нас ответ. Могу предположить, что ситуация изменится, когда люди привыкнут к наиболее «шокирующим» откровениям психоанализа и когда они станут для всех банальностью. Хотя всегда остается соблазн добавить в вывод личную крупицу соли для усиления вкуса.

Вот почему психоанализу так долго пришлось ждать своего основателя, человека, который действительно захотел увидеть то, перед чем всегда из осторожности стыдливо опускали глаза. У него одного был тот независимый ум, который не смущали шокирующие или отталкивающие стороны его от-

крытий. (Они его не озлобляли, но в то же время не приносили удовольствия.) И мы понимаем *оправданность* этого отношения, после того как он смог констатировать, что речь идет о вполне реальных фактах; простыми словами, радость мыслителя, любопытство искателя соединились в нас со столь великою способностью любить, с такой сильной жаждой подчинить себе суть вещей, что он ни на минуту не задумывался, какое же место они займут в иерархии привычных ценностей. Лишь только потому, что это была чистая увлеченность ученого (куда не примешивались ни второстепенные вопросы, ни второплановые чувства), он смог постичь вещи точно и откровенно, и ничто в мире его не остановило, даже то, что уважение к людям побуждало его хранить их тайны. Парадокс: человек, целиком посвятивший себя рациональному, — и иррационалист в нем срывает маску с рационального. Вот почему Фрейда невзлюбили раз и навсегда, едва он доказал, что самые первые стадии развития ребенка являются основополагающими для дальнейшей интеллектуальной и физической жизнедеятельности и их-то и нужно брать за основу. Не столько из-за того, что он заговорил о детской пансексуальности — утверждения самого по себе спорного, — сколько из-за того, что он показал, что это как раз тот источник, из которого постоянно черпается материал для личностного ро-

ста. А стало быть, чтобы лечить, нужно вернуться к истокам, к этой примитивной стадии, на которой начинает прорисовываться дальнейшая эволюция нашего существования; к этой первичной стадии, от которой мы никогда не освободимся, каким бы здоровым ни было наше поведение, даже если мы предпочитаем считать это на данном этапе «сублимированным».

Фрейд очень быстро ввел слово «сублимация» в свою терминологию и для него самого это слово значит — отклонение от сексуальной цели. Он подобрал слово-ключ (одно из тех, что сразу же снимает все недоразумения), согласно которому даже самые табуированные сексуальные извращения должны быть изучены как сублимации, потому что эти отклонения происходят в том же самом отделе психики, где и самые общественно ценимые сублимации, ведущие к духовным успехам в искусстве или науке, и в них участвуют все те же самые заблокированные, но неискорененные инфантильные элементы. Наше сознание *своими* собственными методами и по своей воле открывается проявлениям бессознательного, в котором мы никогда не переставали отрицать нашу изоляцию и возвращать себя к нашим общим корням со всем сущим. Вот *почему* яснее всего мы понимаем это на так называемом сверхличностном уровне наших интересов, соединяющих наиболее потаенные стихийные глу-

бины нашей личности с тем, что во всех отношениях выходит за ее рамки. Вот почему нам удается «сублимировать», то есть отказываться от насильственности наших сексуальных стремлений. Я не преувеличу, если скажу, что сублимация тем сильнее, чем глубже она коренится в первобытных глубинах наших инстинктов, которые все еще остаются центром, определяющим наше сознательное поведение. Чем выше развиты эротические способности индивидуума, тем больше уверенности, что эти способности будут сублимированы, и тем дольше ему удается подпитывать эту сублимацию, не рискуя впасть в конфликт между проявлением своих инстинктов и приспособляемостью к реальности. Тем меньше в нем от *аскета,* в смысле бедного на инстинкты индивидуума, выдающего необходимость за добродетель, или же ослабленного болезнью человека, находящего утешение в слове «сублимация». Нет, здесь главенствуют «триумфаторы», а не аскеты, те, что способны даже в самом враждебном окружении почувствовать тайные узы, связывающие их со всем на первый взгляд чужеродным, колдуны, в самых иссушенных землях находящие источники воды, люди-творцы, а не люди-затворники, — именно поэтому они способны воздерживаться годами, чувствуя приближение к своей гавани и к своему внутреннему «я». Главное то, что они не делают концептуального различия между телесным

и духовным, для них они гармонично сопряжены, образуя *единую* созидательную силу, — так струя воды в фонтане падает в бассейн, откуда снова берет свое начало. <...>

Вспоминая Фрейда

Когда осенью 1911 года, возвращаясь из Швеции, я встретила Фрейда на конгрессе по психоанализу в Веймаре, он от души рассмеялся над той решительностью, с которой я заявила о своем желании познать психоанализ, ибо в то время никто еще и не думал об институтах, которые были созданы позднее в Берлине и Вене для подготовки последующего поколения психоаналитиков.

Спустя шесть месяцев, после усердного самообразования в этой области, я специально приехала к Фрейду в Вену, и он еще раз пошутил над моей безрассудностью, когда я поделилась с ним своим намерением помимо него иметь наставником Альфреда Адлера (оба успели стать заклятыми врагами). Фрейд добродушно согласился с условием, что ничего из того, что происходит в одной и другой группе не будет распространяться. «Мы должны были прервать контакты между нашей группой и адлеровскими отщепенцами, — со всей откровенной прямотой потом написал он мне, — поэто-

му врачи поставлены перед выбором: посещать лекции или там, или тут. Не слишком это хорошо, но поведение отщепенцев не оставляет другой возможности. Не хочу налагать на Вас ограничений, но прошу, как не упоминать о посещении наших лекций там, так и у нас не говорить о лекциях Адлера. Сожалею, что не могу прикрыть перед Вами кулис научного движения».

Этот «обет молчания» был строго соблюден, так что прошли месяцы, прежде чем Фрейд узнал, что я оставила рабочую группу Адлера. Но то, что я хотела бы рассказать, не относится к теоретическим концепциям, ибо даже самая соблазнительная среди всех возможных концепций не могла бы меня отвлечь от того, что открыл Фрейд. Когда знакомишься с его методом исследования, понимаешь, что самому блестящему теоретику психоанализа не удалось бы заговорить меня от его чар и что никакие несовершенства теории Фрейда не смогли бы обесценить сам метод в моих глазах. Теории — в то время некоторые из них были еще в стадии разработки — были для меня скорее необходимым инструментом, обеспечивающим понимание Фрейда сотрудниками.

Но если бы я принялась объяснять, что ему позволило сделать свои открытия, я бы рассмешила его в третий раз. Это все равно, что пытаться уточнить, каким силам подвластны пальцы скульптора или рука художника. То, что провоцировало его от-

крытия, было всегда внезапным откровением: ничего не было слишком изолированным или слишком эфемерным для его взгляда, который в любом нюансе, сколке психической жизни открыл бы полное выражение человека. Вместо того чтобы неспешно разворачивать свои мысли — пусть бы они были при этом самыми глубокими и самыми пророческими, — он был всегда готов действовать, причем с большой строгостью и скрупулезным вниманием, и поэтому этот метод, свободный от всякой теоретической зашоренности, — единственный, о котором стоит говорить.

В один из первых вечеров, когда собралась рабочая группа (это был первый год, когда в нее вошла женщина), Фрейд сказал вначале, что мы должны высказываться безо всякого стыда и смущения о предметах изучения, какими бы шокирующими они ни были со многих точек зрения. С присущей ему деликатностью, наблюдать которую доставляло мне удовольствие, он добавил, шутя: «Как всегда у нас будут тяжелые рабочие дни — с той разницей, что теперь среди нас есть „лучик солнца“».

Этот комплимент, сказанный по случаю, впоследствии тесно ассоциативно связался у меня именно с ним и его подходом к вещам, оказавшись столь емким: даже если в чем-то новые открытия были шокирующими и пугающими, для меня всегда пробивался «лучик солнца» за поступью рабо-

чих дней. В моменты разочарования Фрейд удивлялся моему растущему интересу к психоанализу: «Однако я не занимаюсь ничем другим, как только учу стирать грязное человеческое белье».

Разумеется, и до него знали, что такое гладить и вытягивать белье, производя серию необходимых манипуляций, прежде чем сложить его в шкафы. Но то, что можно было извлечь из самого изношенного белья, собственного ли, чужого ли, не являлось больше отдельным фрагментом, но теряло свое свойство и самое суть фрагмента, потому что проходило трансмутацию опыта, и за ним начинала мерцать тайна целостного человеческого существа.

Даже когда крайне шокирующие и отталкивающие вещи были оголены, это не было помехой для моего ощущения за всем этим «лучика солнца». Эту мысль выразил однажды Фрейд, когда мы затронули эту тему, — он заметил с нескрываемым удивлением (и на этот раз он не подшучивал надо мной): «Даже когда речь идет о наихудших мерзостях, у Вас такой взгляд, как если бы дело происходило на Рождество».

Самое живое и наиболее яркое воспоминание о нашей последней встрече в 1928 году, которое я храню, — это огромные грядки, покрытые анютиными глазками вблизи замка Тегель, — голубой, светло-желтый, пунцовый калейдоскоп. Их пересаживали летом, и они терпеливо ждали следующего года, доцветая среди деревьев, которые роняли на

них свои листья. Было настоящим отдыхом созерцать эти цветы, плавно варьирующие свои оттенки. Фрейд нарвал мне букет. Это была наша последняя прогулка по Берлину.

Несмотря на растущие трудности, которые появились у Фрейда с речью и слухом, перед его долгими годами страданий было еще несколько незабываемых бесед. Мы вспоминали 1912 год, начало моих психоаналитических штудий: где бы я ни находилась тогда, я всегда оставляла в своем отеле адрес, чтобы Фрейд имел возможность найти меня как можно быстрее, как только у него выпадет свободная минутка. Однажды, незадолго до моего визита, он получил ницшевский «Гимн к жизни» — это была моя «Молитва к жизни», написанная в Цюрихе двадцатилетней девушкой, которую Ницше положил на музыку, слегка изменив. Это было совсем не во вкусе Фрейда. Он, выражавшийся всегда с предельной сдержанностью, не мог одобрить оскорбительный энтузиазм, которым без всякой меры злоупотребляет лишенная опыта утрат юность. В приподнятом поначалу настроении, веселый и чистосердечный, он прочитал вслух последние строчки:

Быть и думать, столетьями длясь!
Сжимай же меня в своих крепких объятиях, Жизнь:
И если ты не можешь подарить мне счастья —
Пусть так, — мне достанутся твои страданья!

Он закрыл книгу и в сердцах ударил ею по подлокотнику кресла: «Нет, знаете ли! Я не согласен! Сильного хронического насморка хватило полностью, чтобы избавиться от таких желаний!»

Во время этой осени в Тегеле я как-то спросила, помнит ли он об этом разговоре, имевшем место много лет назад. Действительно, он о нем помнил, так же как и о других. Я уже точно не знаю, почему я у него это спросила: я была взволнована, я знала, что он давно переживает ужасные годы, унизительные и болезненные, и в течение этих лет все, кто его окружали, все, без исключения, задавали себе вопрос, до чего может дойти человеческое сопротивление. Да, он прошел через что-то, чего я сама не могла понять и чему я не могла помешать. И возмутившись при мысли о постигшей его судьбе и страдании, я только и сумела выдавить: «То, что я так невнятно и слишком, пожалуй, эмоционально выразила в том стихотворении, Вы испытали на себе!»

И, опешив от собственной невольной откровенности, я принялась безудержно, безутешно рыдать.

Фрейд не ответил, я только почувствовала, как он обнял меня за плечи.

О НЕДОСКАЗАННОМ

В силах ли человек высказать о себе самое существенное и сокровенное? Смахивает на то, что невысказанным остается самое главное. Но когда остается замолчанной позитивная сторона этого главного, оно все равно прорывается через негацию — намечает свои контуры с помощью умолчаний. Проглядывает в ошибках и изъянах.

То, о чем я хочу сказать, началось внезапно, в пути, при очень личных обстоятельствах — выросло из недоразумения между лучшим, ближайшим другом моей молодости Паулем Рэ и мной: словно совершенно исправный экипаж столкнулся на полном ходу с препятствием и развалился на части. Внешних препятствий на нашем пути вроде бы и раньше встречалось немало. Но мы беззаботно и безмятежно шли своей дорогой: куда бы ни вела эта дорога, она, как нам казалось, никогда не разойдется с магистральной стезей нашей собственной судьбы. Недоразумение возникло из-за того, что

я сделала шаг в сторону другого человека, и не в силах была передать — ради этого другого — всю правду и все мотивы этого поступка. Пауль Рэ — человек, которому труднее всего на свете было поверить в то, что его любят, увидел в этом шаге доказательство внутренней готовности к разрыву. Он и не подозревал, что никогда — ни до того, ни после — я даже близко не испытывала такой нужды в нем, как в тот роковой момент. Ибо давление обстоятельства, из-за которого я совершила этот необратимый поступок, разлучило меня не только с ним — разлучило с самой собой.

Только тот, кто всесторонне и глубоко знал моего мужа, кто любил и принимал его неординарный характер и темперамент, мог бы догадаться, что стоит за этими словами — «давление обстоятельств».

Причиной, породившей это давление, была *неодолимая сила*. Ее жертвой и стал мой муж. Неодолимая, ибо она не только заявляла о себе могучими зовами инстинкта, но и была одновременно неизбывной *реальностью*. И свое воплощение она нашла не в уговорах, она воплотилась в самой фигуре моего мужа. Бессмысленно рассказывать об этом тому, кто не сталкивался с особенностями, которых я не встречала ни у кого больше, кроме него.

* * *

У меня осталось впечатление, что Андреаса совсем не интересовали тогдашние мои чувства, к примеру эротическое возбуждение, которое могло бы подвигнуть меня на безрассудный шаг. Наоборот, он строго отделял то, что он называл нашей «роковой принадлежностью друг другу» от моих душевных движений по данному поводу. Что до моих чувств, можно сказать, что я относилась к происходящему совсем *не по-женски*: вообще мое восприятие Андреаса было таким же чувственно *нейтральным*, как и неизменного спутника моей юности Пауля. Но в случае с Рэ у меня было для того внятное основание, которое, хотя и проявлялось почти незаметно, все же явственно отделяло чувство самой глубокой дружбы от любви. Потому что чувствами мы всегда — глубже или поверхностней, — но все же воспринимаем телесную чуждость, некий телесный барьер.

Здесь же ни о чем подобном речь не шла: ни в самом начале, ни в последующие десятилетия. По-видимому, тут могли действовать иные причины: та известная очень многим женщинам непреодолимая скованность, которая яснее и лучше всего истолкована в психоанализе*. Однако опыт моей поздней

* Вероятно, Лу имеет в виду пресловутый отцовский трансфер — она не раз признавалась, что муж напоминал ей ее отца, Густава фон Саломе (они даже называли друг друга «мой старичок» и «доченька»). — *Прим. пер.*

молодости опровергает верность и таких умозаключений. Что бы ни думали об этом другие, мой муж был тогда уверен, что подобные «девичьи выдумки со временем пройдут». Однако «со временем» — обернулось всей жизнью и вобрало в себя даже его смерть, чего мой муж просто не принял в расчет.

Когда задумываешься над тем, насколько он был старше и опытней меня, и насколько я, кроме того, была наивней и ребячливее по сравнению со своими сверстницами, то его надежды и несокрушимая уверенность кажутся почти чудовищными. Меня же в то время настолько захватывала и занимала все мои помыслы потребность в *полноте жизни*, нежели упомянутый частный вопрос, что я не дала на него ответа не только ему, но и самой себе; сильнее меня волновала и переполняла скорбь по исчезнувшему спутнику: я поставила мужу условие, что не расстанусь с другом молодости, и он, в конце концов, пошел на этот компромисс. Мы оба еще недостаточно знали меня, мою «натуру» или, говоря иначе, то, что без нашего ведома управляет нашими поступками. Те девичьи представления, о которых говорил он, или даже выработанные воззрения, которых я придерживалась, не играли для меня *решающей* роли. Для понимания этой проблемы какой-то намек дает пример из совсем другой области, которого я уже касалась в своих воспоминаниях, — мой выход из лона церкви. Выход этот не был для

меня проявлением своеволия или, тем более, фанатизма правдолюбия; я боролась с этим побуждением, которое так расстраивало моих родителей и вело к неизбежному скандалу. Боролась не только рассудком — я, если можно так выразиться, морально осуждала и страшилась своего возможного решения как формы нездоровой экзальтации. Но выбор сделала не я, выбор сделал мой сон, в котором на церемонии конфирмации мои губы выговаривали: «Нет!» Не скажу, будто я, проснувшись, убоялась, что поступлю точно так же и наяву; точнее будет сказать, что просто я тогда окончательно поняла, насколько невозможно мне будет выдавить из себя другой ответ даже для проформы.

То, что мы считаем своими мотивациями и убеждениями, очень часто напоминает, скорее, паутину в пору бабьего лета, которая рвется и улетает от малейшего ветра.

Когда вдруг поймешь это, жизнь может резко измениться. И вот однажды мы с мужем пришли к такому пониманию спонтанного изменения жизни, хотя в тот момент мы хранили молчание и так никогда больше не осмелились затронуть эту тему. Быть может, его подтолкнуло внезапное решение застать меня врасплох и овладеть мною. Во всяком случае, я проснулась не сразу. Меня разбудил какой-то звук, слабый, словно долетающий с другой звезды, — в нем был какой-то странно резкий оттенок,

словно он действительно доносился из бесконечности... К тому же у меня было такое чувство, что мои руки не со мной, а где-то надо мной. Я открыла глаза и увидела, что они сплелись на чьем-то горле... Странный звук был хрипом моего мужа — я пыталась во сне его задушить. То, что я увидела над собой глаза в глаза — его лицо, — я не забуду до конца своих дней...

В связи с этим воспоминанием у меня всплыло другое: как незадолго до нашего обручения на меня едва не пало подозрение в покушении на его убийство... Возвращаясь вечером домой, в свою квартиру, которая располагалась довольно далеко, Андреас всегда прихватывал с собой короткий, тяжелый перочинный нож. И вот этот нож лежал на столе, за которым сидели мы с Андреасом. Спокойным движением он взял его и вонзил себе в грудь.

Я, не помня себя, выскочила на улицу и бегала от дома к дому в поисках врача. Попадавшиеся навстречу люди спрашивали, что случилось, и я бормотала, что человек упал и наткнулся на нож. Пока, наконец, найденный мною врач обследовал лежавшего на полу без сознания Андреаса, несколько брошенных им вскользь слов и выражение его лица дали мне понять, кого именно он подозревает в преступлении. Он не поверил мне, но, впрочем, вел себя тактично и оставался любезен. При ударе нож выскользнул из руки и сложился треугольни-

ком, поэтому лезвие не задело сердце, но рана долго не заживала.

Это был не единственный случай, когда мы оказывались на грани смерти, решали свести счеты с жизнью и улаживали свои дела, с тем чтобы навсегда покинуть этот мир. Нас обоих в одинаковой степени характеризовали приступы беспомощности и отчаяния. Правда, это были лишь мгновения, по которым едва ли можно судить о наших переживаниях и нашей внутренней жизни вообще. Нас ведь многое связывало: не только мировоззрение, но и врожденные склонности и пристрастия. Обычно, как мне кажется, эту сторону сильно переоценивают: да, такого рода близость наводит мосты, доставляет минуты радости и связывает чувством деловой общности, но не менее часто она лишь прикрывает глубинное несходство, и скорее сглаживает острые углы, чем по-настоящему спаивает между собой двух людей.

Само собой разумеется, я с самого начала старалась приспособиться к тем формам поведения, которые соответствовали его жизненной цели. Я даже была готова оставить Европу, когда на первых порах у нас появилась возможность отправиться в Армению, туда, где находился монастырь Эчмиадзин. Наш образ жизни тоже все больше и больше отвечал запросам моего мужа: подражая ему, я стремилась к простоте в одежде и пище, к жизни

на лоне природы — вопреки своим изначальным северным привычкам я решительно переменилась и оставалась уже такой до конца своих дней: босиком ходила по траве, кормила с руки животных и птиц. Это вообще была область, где мы с мужем сразу нашли общий язык и на чем безусловно сошлись наши интересы — *мир животных*.

Мне вспоминается один характерный эпизод, случившийся в первые годы после нашего бракосочетания. Мы приобрели в качестве сторожевой собаки огромного водолаза, и однажды летней ночью мой муж решил прокрасться из сада к входной двери, дабы проверить, почувствует ли еще не привыкший к нему пес в нем хозяина или вора: он крался обнаженным, таким собака его еще не видела. Пробирался он так осторожно и ловко, с таким самозабвенно серьезным лицом и так напоминал подбирающегося к жертве хищника, что оба (это трудно выразить словами) походили друг на друга, как две тайны. Внутренняя драма, терзавшая собаку, эта борьба «за или против», так захватила Андреаса, что он, казалось, уже не играл, не притворялся, а весь отдавался противоречивому желанию, ибо ему и впрямь хотелось, чтобы его новый товарищ не только охранял, но и любил его. Собака страшно напряглась, но все же с блеском выпуталась из этой ситуации: угрожающе *ворча*, она отступила *назад*. Невероятно довольный таким исходом своей затеи,

Карл громко рассмеялся и принялся восторженно обнимать прыгнувшего ему на плечи пса.

...Я гляжу из окон на фруктовый сад и представляю, как Андреас, закончив работу, еще раз обходит его; это обычно бывало в предрассветные сумерки перед отходом ко сну. Я вижу, как он, пробираясь неслышной звериной поступью по саду, будит черных дроздов, так ловко подражая их голосам, что они тихо отвечали ему и вдруг затевали свою услаждающую слух болтовню; слышу, как петух, крепко спавший в курятнике, с задорным тщеславием старался перекричать чужака-соперника.

Словом, мы с Андреасом совершенно одинаково относились к любому *животному*, но стоило делу коснуться какого-то конкретного *человека*, как наши взгляды чаще всего кардинально расходились.

В противоположность почти воинственной деловой устремленности моего мужа, мое приспособленчество было частью моей натуры, чуждой тщеславию и не знавшей конкретной цели. Я даже не могла бы сформулировать, что бы я назвала для себя первостепенным и главным, видимо, потому, что для достижения самого необходимого и увлекающего мне никогда не требовалось напрягаться, перебарывать себя или прилагать усилия. За какое бы дело я ни бралась, если все шло как надо, оно непременно должно было привести к этому загадочному *главному*. Правда, при этом всегда надо иметь

в виду некое глубинное, тайное отчаяние, которое, каким бы ни было мое поведение внешне, всегда следовало за мной по пятам и от которого я так окончательно и не избавилась. Разница между моим нынешним и прежним поведением — в частности, относительно всех моих спутников — заключалась, собственно, в том, что если *прежде* вопрос, можно ли идти вместе с тем или иным из них одной дорогой и как далеко следует заходить по ней, казался мне имеющим разумный ответ, то *позже* вопрос этот едва ли имел для меня значение — по причине невыполнимости обязательств, которые я на себя возлагала.

Вследствие этого любая духовная деятельность, которой я занималась, обретала чрезвычайную самостоятельность, становилась самоцелью, которая требовала самоуглубления и одиночества. Как правило, она не имела отношения к нашей совместной жизни и к проблемам, которые эта жизнь перед нами ставила. Все то, что называют притиранием друг к другу, у нас практически отсутствовало. Поэтому годы — в конечном итоге четыре десятилетия — не принесли слияния интересов. Зато и не вынудили каждого из нас отступиться от того, что составляло смысл жизни.

Все это вряд ли объяснимо только на понятийном уровне, и все же было бы неверно видеть здесь *отсутствие близости*, которая с годами только на-

растала. Доказательством мог бы послужить небольшой эпизод, произошедший незадолго до того, как муж вступил в последний год своей жизни. Тогда, поздней осенью, я заболела и около полутора месяцев пролежала в клинике, а так как с четырех часов дня я продолжала свои занятия психоанализом, муж получил разрешение навещать меня до трех часов — официальное время посещения строго ограничивалось. Для нас было совершенно внове вот так сидеть друг против друга: мы, понятия не имевшие, что такое семейные вечера «при уютном свете лампы», и даже во время прогулок старавшиеся не мешать друг другу, очутились в совершенно необычной ситуации, которая внезапно нас захватила. Мы растягивали и берегли минуты, как некогда во время войны люди, чтобы выжить берегли хлеб насущный. Свидание за свиданием проходило так, словно наконец-то свиделись после долгой разлуки возвратившиеся издалека. Когда я поделилась этой тихой радостью с Фрейдом, он с теплым восхищением писал мне, что «так долговечно проявляет себя только подлинное». Когда я, наконец, встала на ноги и вернулась домой, эти «больничные посиделки» стали невольно повторяться, и не только между тремя и четырьмя часами.

Я всегда живо интересовалась его внутренней жизнью. Но она никогда не была темой наших разговоров. Мне кажется, в течение многих лет мы за-

трагивали ее лишь дважды. Нам была свойственна эта манера: не смотреть друг другу в глаза, а жить, как бы повернувшись друг к другу спиной; взаимоотношения наши менялись, но манера эта сохраняла свою неизменную основу. Кроме того, мои занятия были сопряжены с молчанием, поскольку то, что я узнавала во время психоаналитических сеансов о переживаниях других, не предназначалось для пересказа; к тому же своими рассказами я легко могла отвлечь мужа от главного дела его жизни.

Довольно поздно, но все же на целых два с половиной десятилетия, Андреасу досталась профессорская должность в Геттингене; впрочем, уход на пенсию мало что изменил в его жизни: ученики и зарубежные коллеги, с ним работавшие, его не оставили. Я во всех подробностях помню его семидесятилетие. Празднование, устроенное официальными лицами и друзьями, застало его врасплох, тем более что его предыдущие юбилеи невозможно было отметить столь торжественно в силу тогдашних исторических потрясений. Его, ложившегося спать только под утро, в буквальном смысле снова подняли с постели. С каким внутренним волнением он стоял тогда среди собравшихся, отвечая экспромтом на поздравления, на слова искренней благодарности и на деликатные напоминания тогдашнего ректора университета, что от него еще многого ждут. Пылко и убежденно Андреас экс-

промтом набросал картину того, что, по его мнению, в грядущие десятилетия вообще в состоянии дать наука. Он предвещал уже начинавшееся взаимодействие, взаимопроникновение филологических дисциплин по примеру естественнонаучных. Я заметила, что у некоторых слушателей на глазах выступили слезы.

Однажды его едва не пригласили работать в Берлин, но приглашение так и не последовало из-за того, что готовившуюся к публикации работу нужно было завершить быстрее, чем полагал возможным мой муж. Вообще требования, которые невольно встают перед авторами работ научно-публицистического характера, помимо счастья заниматься любимым делом доставляли Андреасу изрядную толику раздражения, которое рождалось из естественного желания возложить ответственность за свою медлительность на какие-нибудь внешние помехи: так, например, в нем разгорелась почти безмерная по интенсивности ненависть к хозяину расположенного напротив трактира, из которого к нам доносился звук (надо признаться, весьма слабый) патефона.

Полностью отдавая себе отчет в недостатках его весьма своеобразной личности, нельзя пройти и мимо того, что именно эта своеобычность подарила ему такую насыщенную молодость и сохранила в нем юношеский задор. Над чем бы он ни работал, все было овеяно мыслями о будущем:

благословенным или обреченным будущем, но о будущем вне каких бы то ни было временных рамок. Иногда он чувствовал себя беспомощным, иногда работал, не зная усталости, иногда впадал в состояние беззаботного ничегонеделания, но всякий раз его внутреннее содержание обновлялось с такой силой, какую я не встречала больше ни у кого. Даже в преклонном возрасте он оставался прежним: годы согнули плечи, он хуже слышал, но седая голова придала его облику большую выразительность, а темные глаза, вопреки синим старческим кругам под ними, казалось, обрели еще большую проницательность. Точно их сиянию мало было одной только темной глубины.

Абсолютная свобода, с которой каждый из нас отдавался своему делу, в то же время осознавалась нами как *общность*, которую мы старались сберечь; пожалуй, можно даже сказать, та особая тональность уважения друг к другу, к которой мы в конечном счете пришли, воспринималась нами как общее достояние и взаимная защищенность. Ибо об одном только муж проявлял удивительную заботу, даже если был очень занят: чтобы другой уверенно и радостно шел своим путем. Приведу в доказательство запомнившийся мне случай. Как-то в виде исключения я принялась сочинять рассказы — урывками, потому что с началом занятия психоанализом я совершенно отошла от прежних своих

литературных увлечений, и необходимость концентрации и в том и в другом случае заставляла меня с головой погружаться в работу. Терзаясь угрызениями совести, я потом с несколько натужным смехом восклицала: «Наверняка все это время я была ни на что не годна и невыносима!» На что муж с таким просветленным лицом, которое невозможно забыть, ответил с ликованием в голосе: «Ты была такой счастливой!»

В том, что мы могли радоваться успехам друг друга, была не только доброта, как бы сильно она не проявлялась. Способность *радоваться за другого*... эта замечательная его черта, всегда означала, что он относится к другому как к себе, понимая, что в обоих действует одна и та же первопричина. Отсюда мощное, впечатлявшее всех выражение его лица, которое появилось у него со временем, — впечатление открывшейся ему *реальности*. Даже и сегодня, вопреки смерти, которая никогда его не интересовала, это особенное выражение находит свое продолжение во мне: каждый раз, когда я погружаюсь в потаеннейшие глубины своего естества, я встречаюсь с этой способностью радоваться за других. Быть может, именно он научил меня этому, когда, несмотря ни на что, признавал правоту каждого из нас.

Не было ли восхищавшее меня выражение его лица связано с тем, что оно отражало знание некой

конечной истины? Не знаю. Прости, прости, не знаю. Но в те мгновения радости мне казалось, что *эти мгновения* знают это лучше меня.

Вспоминая Андреаса, я думала не о том, что миновало, а о том, что ждет впереди. Не поминовением усопшего это было, а постижением жизни.

* * *

Одной из самых рельефных фигур недосказанности в моей жизни, в том числе для меня самой, остался человек, которого мы встретили в кругу интересующихся литературой и политикой и который сразу был замечен и отмечен нами обоими*. В первый момент, как часто случается, я пропустила мимо ушей его фамилию, как, впрочем, и он мою. Когда этот человек представился еще раз, я заметила, что он внимательно рассматривает мои руки; я, было, уже собралась спросить, что его заинтересовало, как вдруг он резким тоном задал вопрос: «Почему вы не носите обручальное кольцо?» Смеясь, я ответила, что в свое время мы не удосу-

* Речь идет о Георге Ледебуре, влиятельном политике, члене Рейхстага, главном редакторе левой газеты «Форвардс», который позднее встречался с Троцким. По мнению большинства биографов, именно он был первым мужчиной в физической жизни Лу. Нигде больше в других местах своих воспоминаний она не упоминает ни его, ни эту историю. — *Прим. пер.*

жились обзавестись кольцами, да так все и оставили... Тон его, однако, не изменился, когда он несколько осуждающе произнес: «Но кольцо надо носить обязательно». В этот момент кто-то шутя спросил его, понравилась ли ему «Летняя прохлада в Плетцензее»*, где он только что отбыл срок за оскорбление Его Величества. Я нашла забавным — и не скрыла этого, — что именно из его уст исходит такой высоконравственный упрек в мой адрес, но мне так и не удалось этим развеять его дурное расположение духа, хотя до того он был достаточно общителен и разговорчив.

Однако вопреки этой первоначальной суровости мы достаточно стремительно сдружились, и несколько недель спустя, когда мы вместе возвращались с одного собрания, он признался мне в любви, сопроводив свое признание непонятными для меня, но, видимо, долженствующими извинить его порыв словами: «вы не женщина, вы — девушка».

Мой испуг, вызванный этим его неведомо откуда взявшимся знанием, настолько подавил все остальные чувства, что — не только в тот момент, но и позднее — я так и не смогла до конца осмыслить свое отношение к этому человеку. Иногда мне кажется, что я испытывала к нему ответное чувство; но пока оно исподволь вызревало во мне, его

* Название тюрьмы в окрестностях Берлина. — *Прим. пер.*

напрочь вытеснило другое — всепоглощающее чувство страха, пожалуй, более сильное и глубокое, чем просто то, которое испытывает высоконравственная мужняя жена, замечая, что неожиданно для себя начинает влюбляться в другого. Ибо верность брачному таинству или общепринятым условностям значила для меня намного меньше в сравнении с той *нерасторжимостью* и роковой неизбежностью, которые исключали почти любую возможность разъединения с мужем.

Этот страх, испытываемый мною, был, что любопытно, схож с тем леденящим чувством, которое мы однажды уже испытали накануне нашего «торжественного обета верности на вечные времена», — именно тогда, когда Андреас воткнул себе в грудь нож. Возбужденное состояние мужа, который не был слепым, но тем не менее предпочитал им быть, когда жаждал уничтожить соперника, вместо того чтобы поговорить со мной о нем, стало постоянным фоном нашей жизни. Отсюда, в свою очередь, во мне рождалось иное отношение к этому *сопернику*, чем просто влюбленность: это было неистовое желание убежать, спастись от ужаса, перед которым я была бессильна, и который превращал наши дни и ночи в муку. То, как мой новый друг пытался помочь мне в редкие часы наших встреч с истинным и бережным участием, навсегда осталось в моей памяти, это было избавлением от

почти невыносимого одиночества. Но дело этим не кончалось: волнения и опасения друга по моему поводу возбуждали и его самого и доводили до крайностей, которые растравляли мои раны и в итоге угнетали и терзали не меньше, чем поведение мужа.

Насколько он не уступал мужу в силе ненависти и максимализме, проявилось еще раз двадцать с лишним лет спустя. Крайне озабоченная политическими преследованиями моих родственников в России, я в кратком письме попросила его навести справки и помочь советом. Он узнал мой почерк по написанию своего имени и слов «чл. Рейхстага». Письмо вернулось ко мне с почтовым штемпелем: «адресат отказался принять».

Когда-то все закончилось тем, что я уступила требованию мужа с ним не встречаться. Но истинное значение этого приключения для нашего брака заключалось в том, что оно показало полную невозможность дальнейшего продолжения нашего союза. О разводе, как и раньше, не могло быть и речи, и то, почему муж исключал этот вариант, очень характерно для его образа мыслей: он говорил мне о надежде на будущее, не об ошибках прошлого, которые, возможно, подлежали исправлению, а, вопреки всему, о приверженности тому *реальному* положению вещей, которое между нами сложилось. В памяти моей навсегда запечатлелся момент, когда

он сказал: «Я не могу перестать *знать*, что ты моя жена».

После месяцев мучительной совместной жизни, прерываемых расставаниями, которые помогали справиться с одиночеством вдвоем, утвердился новый взгляд на вещи. Внешне не изменилось ничего — внутренне все. Мои последние годы были заполнены многочисленными путешествиями — я стала неутомимой кочевницей в «междустранье».

Однажды, в минуту трогательного примирения, я спросила у мужа: «Хочешь, я расскажу тебе, что со мной случилось за это время?» Быстро, без колебаний, не оставив ни секунды для другого слова, он ответил: «Нет». С тех пор между нами и тем, что нас связывало, повисло тяжелое, упорное молчание, которое так никогда и не было растоплено. Причина заключалась не только в особом складе мужа, но, как мне кажется, в мужском характере вообще, какими бы разными ни были конкретные поводы для такой реакции. Много лет спустя ответ одного моего друга на подобный вопрос, после того как я по совершенно невинной причине долго не могла с ним встретиться, был почти таким же — не вникая в суть дела, на мое предложение все объяснить он задумался и решительно ответил: «Нет. Я не хочу этого знать».

Из-за нашей привычки к уединенной жизни о нас могли думать все что угодно; скорее всего, по

своему обыкновению люди шли по проторенной дорожке предположений о взаимной супружеской неверности. Никто и вообразить не мог, с какой страстью в любой период моей жизни я желала, чтобы у моего мужа была жена или ласковая и нежная возлюбленная.

Что до меня самой, то, вероятно, предыдущие борения и конвульсии, слишком грубо подавлявшие нараставшую тоску, способствовали тому, что впоследствии любовь встретилась на моем пути тихо и незаметно, как нечто само собой разумеющееся. И тогда уже я готова была ее принять без какого бы то ни было чувства вины, но как благодать, благодаря которой мир обретает совершенство — не только мир отдельного человека, но мир вообще, сам по себе. Свершаются события, приход которых неотвратим и как будто санкционирован свыше помимо нашего к ним отношения; нам остается лишь принять их, без стяжательства и без строптивого упрямства.

Поэтому совершенно недопустимо сравнивать или измерять *силу и продолжительность* подлинной страсти: заполнила ли она собой целую жизнь и навсегда вошла во все ее проявления, или, скорее, это были повторяющиеся витки спирали разных страстей. Первое можно воспринимать как нечто до непостижимости великолепное, но при этом скромно осознавать собственную, как бы сказать,

«некомпетентность», так как именно в этом случае все особенности любви легче всего поддаются субъективной оценке. Но мы так мало знаем о тайне любви *вообще* именно вследствие нашей ограниченности чисто личностным моментом — вследствие того, что понимаем любовь только как любовь к определенному человеку. Взаимодействие между тем, что есть в нас человеческого, сугубо человеческого, и тем, что страстно тянется к сверхчеловеческому, искажается в наших оценках явлений, о которых сердце никогда еще не говорило разуму всей правды.

Поэтому разуму не остается ничего иного, как попытаться проникнуть в тайны *телесных* процессов, которые в результате таких попыток лишь до крайности опошляются. Но не напоминает ли это до боли *вино и хлеб* святого причастия, которое благоразумно прибегает к вполне материальным заменителям ради того, *чтобы быть?*

Человек, которому отдана наша любовь, независимо от степени духовной и душевной «растроганности» обоих, остается священнослужителем в загадочном храме и сакральных ризах, и сам едва ли догадывается, какому *богу* он служит.

СОВРЕМЕННЫЕ ПИСАТЕЛЬНИЦЫ

Из современных немецких писательниц почти все выдающиеся таланты принадлежат Австрии; зато в самой Германии мы находим писательниц, так сказать, наиболее передовых. Лучшие произведения германских женщин возникли под влиянием новейшего умственного течения: они являются прямым результатом участия женщин в духовной и социальной борьбе современности, главным образом — развития самой женской психики, ставшей более восприимчивой к волнующим ныне человечество задачам, скорбям и надеждам. В Австрии же появились произведения, которые благодаря таланту их авторов надолго сохранят свое вневременное значение праздника подлинной художественности. Самый тип современного человека остается ими почти незатронутым: одни из этих писательниц начали свою литературную деятельность еще в период «до-равноправия», другие вообще не об-

наруживают интереса к этой равноправности женщин, третьи, наконец, исходят из точки зрения, диаметрально противоположной нынешней, и остаются верными старым идеалам.

Говоря об австрийских писательницах, нельзя обойти старейшую и самую знаменитую из них — Марию фон Эбнер-Эшенбах, хоть она и принадлежит к прошлому поколению. Безусловно, именно она должна быть поставлена во главе всей австрийской женской литературы, а ее лучшие произведения настолько популярны, что имя ее, вероятно, небезызвестно и в России. Немногие литераторы вообще могут сравниться с ней по силе дарования и тем более возвыситься до того глубоко юмора, мудрого и теплого, с каким она воспроизводит явления человеческой жизни. Но если по прочтении ее романов, новелл, философских сентенций и пр., вам представится случай с ней познакомиться, с этой маленькой, тихой, благородной седой женщиной с мягкими и плавными движениями, уловить на себе ее испытующий взгляд, полный почти подавляющего ума, то вас охватит такое чувство, как будто эта писательница все-таки не вылила в свои произведения тончайшей эссенции своей души, не вложила в них наиболее зрелых и сладких плодов своего богатого опыта. Складывается впечатление, словно она припрятала все это для себя, точнее, не для себя одной, а для бесконечно более интимной, тихой деятельности в кру-

гу близких ей. Дочь графа Дубского и жена фельдмаршала, Мария фон Эбнер-Эшенбах творила, повинуясь исключительно глубокой внутренней потребности. И хотя, быть может, она видела в этом свое величайшее жизненное благо, но прежде всего и при всех обстоятельствах она оставалась женщиной, а не профессиональной писательницей. И эта-то особенность, по моему мнению, настолько отличает ее от нарождающегося типа женщин-писательниц, что она кажется принадлежащей иному, уходящему миру. Но, с другой стороны, именно эта черта и придает ей необыкновенное личное обаяние. Чарующее впечатление на собеседника производит то невысказанное или неописанное, неподлежащее обнародованию, те неизъяснимые душевные движения, о которых можно лишь догадываться по тонким складкам вокруг милого рта, по мимолетной выразительности взгляда. Можно ли сохранить в силе такое очарование или оно с неизбежностью изменит свои формы всюду, где отныне современная женщина-романистка из возвышенных побуждений решается показать в своих произведениях, беспощадно и беззаветно, всю свою внутреннюю жизнь с ее интимными откровениями и настроениями. На нескольких произведениях современных писательниц я попытаюсь показать, как совершается этот переход от прошлого к настоящему, как далеко он идет и какое значение имеет для литературы.

Впервые замечается влияние нового направления в романах австрийской писательницы Лели Киршнер, известной более под псевдонимом Осип Шубин, и, надо сказать, она принадлежит к числу тех художников, которых можно оценить только лишь в целом ряде картин, ибо ее оригинальность и красота выражаются не столько в строго определенных основных очертаниях, сколько в пленительно разнообразной игре ее духовной физиономии. Она то игрива, то задумчива, порой от мягкого настроения переходит неожиданно в иронический тон; она всецело вас захватывает и насмешкой, и серьезностью, кокетливой улыбкой и жгучими слезами. Изображает она почти исключительно жизнь австрийской аристократии и отчасти творческий мир, преимущественно жизнь музыкантов. Таким образом, круг, из которого она черпает материал, ограничен и находится в резком несоответствии с живостью и подвижностью ее настроений. Это напоминает ландшафт, лежащий перед нами в строго определенной, неизменной форме, тогда как над ним, точно другой ландшафт, расстилается небо, покрытое движущимися пушистыми облаками причудливой формы, полное игры светотени и придающее всей картине особое освещение. Но каково бы ни было это освещение — яркое или темное, ясное или туманное, — реалистическая отчетливость рисунка остается та же. Эта смесь стро-

го реального изображения действительности с искрящейся субъективностью настроения в высокой степени характерна для таланта Осипа Шубина. Вот почему очень рано, уже в первом романе «Честь», автору удается достигнуть почти филигранного мастерства в обработке самого сюжета, тогда как слить в одно целое сюжет с проникающим его настроением посчастливилось ему гораздо позже, да и то в немногих произведениях.

У этой писательницы то несомненное преимущество, что, хотя она сама принадлежит к аристократии и имеет возможность более или менее близко наблюдать ее жизнь, она в то же время по своим мыслям и чувствам стоит гораздо выше своей среды и никоим образом не отождествляет себя с типами, так охотно изображаемого ею сословия, не разделяет его симпатий, надежд и стремлений. В этом кругу она чувствует себя так же уверенно и непринужденно, как в своем домашнем, будничном платье. К сожалению, эти благоприятные условия знакомости и освоенности в материале нередко увлекали Киршнер охотнее останавливаться на легких и игривых сюжетах, которые можно исполнять в форме грациозной болтовни вместо мучительного углубления в последние психологические бездны. После первого романа «Честь», за которым последовало множество других, собственно, только в «Gloria Victis» писательница значительно

шагнула вперед. Полного расцвета ее талант достиг в двух тесно связанных между собой романах — «Асбеин» и «Борис Ленский». Но, словно не удержавшись на этой высоте, она снова падает и создает уже целый ряд весьма посредственных произведений.

В «Асбеине» и «Борисе Ленском» автор уже изображает не аристократический круг, а мир художников, и соответственно с изменившейся средой самый центр романа переносится из чисто внешних явлений во внутренний мир. Словом «Асбеин» автор обозначил те чарующие звуки, которые словно роковые, демонические аккорды врываются в жизнь Бориса Ленского, увлекают его на блестящий и беспорядочный путь виртуоза и, в конце концов, губят его гений. Рядом с необузданным Ленским, злоупотребляющим и музыкой, и женщинами, подобно ангелу-хранителю, стоит его жена Наталия. Принадлежа к высшей русской аристократии, она, не задумываясь, бросает родную семью, чтобы выйти замуж за плебея-художника, до самозабвения увлеченная благородством и самобытностью его таланта, — так женщина берет в ней верх над аристократкой. Но в неравной борьбе за нравственное и духовное величие своего возлюбленного с мрачными силами Асбеина Наталия, в конце концов, оказывается побежденной; она оставляет Ленского и возвращается в родную

семью, где медленно угасает от неумирающей, безнадежной, глубоко печальной любви. И любовь эта, с такой страстной верой цепляющаяся за высшие проявления духовной личности избранника, хотя и не могла предотвратить его падения, но, подобно отвергнутому ангелу, постоянно витала вокруг художника, как бы указывая на утерянные небеса. Вторая часть «Бориса Ленского» — сжигающая его тоска по умершей жене и умершему величию, тоска, которая всюду его преследует и, в конце концов, доводит до экстаза, до галлюцинаций. Это же настроение овладевает им в момент смерти. Этот герой, с его сложной, тонко нюансированной душевной жизнью высокоодаренной и беспутной натуры, полной пронзительных подъемов и глубоких бездн, так ярко противостоит более или менее шаблонным представителям своего пола во многих женских романах, которые в лучшем случае могли бы послужить материалом для меткого очерка или ловкой карикатуры. То же самое можно сказать и о женских типах Осипа Шубина: начиная с первых романов, ее внимание приковано к некому женскому типу, резко отличающемуся своей самостоятельностью и оригинальностью от окружающих, и своего лучшего, врезающегося в память воплощения он достигает в героинях «Асбеина» и «Бориса Ленского» — Наталии и Ните. Последняя представляет полную противоположность Наталии,

безгранично и беззаветно любящей. Из всех окружающих Ленского женщин одна только Нита сумела перед ним устоять, хотя в душе она боготворит его. И когда Нита увидела в своем гении-полубоге зверя, она совсем от него отрекается. Как и Наталия, Нита сбрасывает с себя светские путы, но не для того, чтобы отдаться влечению, — эта художница с недюжинным талантом ведет тихую, внутренне насыщенную жизнь, и, разочарованная в Ленском, сосредоточенная на зове своего дара, она постепенно отрешается от жажды личного счастья и семьи. Тем не менее ей чужда какая бы то ни была эмансипационная черта, которой непременно наделяется всякий самостоятельный женский тип, выводимый в современных романах. В ней, как и во всех женщинах Осипа Шубина, еще глубоко сидит «дама». Так, она очень смущена, когда ей приходится одной, без подобающего сопровождения, остановиться в гостинице; она возмущена и оскорблена, когда на выставке ее картин мужчины относятся к ней как к коллеге, совершенно игнорируя в ней женщину. И тем не менее она ставит на карту всю щепетильность светской дамы, когда своим самоотверженным вмешательством спасает Машу, дочь Ленского, ее честь и даже жизнь. Такие незначительные черточки в произведениях последнего времени производят на нас впечатление анахронизма и показывают заодно, как далеки все же

от современного движения и брожения женских умов те аристократические сферы, в которых живут герои Осипа Шубина. Но с художественной точки зрения эти незначительные особенности служат тому, чтобы характернее оттенить героинь Осипа Шубина, и являются грациозным, пикантным придатком к натуре Ниты. В жизни Наталии же эти мелочи играют гораздо большую роль: здесь они являются не только пикантными подробностями, а имеют почти трагическое значение. В тот момент, когда Наталия слепо идет за своим возлюбленным, женщина побеждает в ней «даму», но впоследствии, когда композиторская карьера мужа все более и более идет вразрез с ее аристократическими привычками и ей приходится принимать у себя самое разношерстное общество, она энергично восстает против этого. Этот единственный и, повидимому, незначительный проступок ее по отношению к мужу влечет, однако, за собой все неудачи Ленского как композитора, заставляет его гнаться за мишурными лаврами виртуоза и постепенно губит его талант. Таким образом, оба эти наиболее значительных женских лица сохраняют бессознательные привычки и повадки той среды, которую они переросли по своим идеалам. Но не то же ли самое касается самой Лели Киршнер, которую так увлекает легко ей дающаяся форма виртуозного изложения, которую так влечет писать

для «занимательного чтения»? Ей недостает того, что в высшей степени характеризует ее соотечественницу Эмилию Матайя, известную под псевдонимом Эмиль Марриот.

Перейдя от Осипа Шубина к Эмилю Марриоту, испытываешь такое впечатление, словно взгляд наш перенесен с экспрессивной, умной и подвижной физиономии на спокойные очертания энергичного и замкнутого лица. Беллетристический облик Марриота далеко не так блестящ и привлекателен, но зато представляет настоящий литературный характер в самом строгом смысле этого слова. Ее первенец «Эгон Талмор» обладает почти единственной прелестью, той, которая свойственна всем, хотя и значительным, но незрелым пробам ее пера, — в них много говорится об основном настроении и идеях самого автора, но они не сполна еще воплощены в художественные образы. Но уже здесь Марриот затрагивает тему, с которой она затем почти не расстается и наиболее талантливой выразительницей которой она оказывается. С самого начала она рисует трагедию расшатанной семейной жизни и при этом указывает на то великое значение, какое для единичных личностей может иметь любовь к семье. Эту тему Марриот разрабатывает без всякой предвзятости или приверженности к пиетизму и традициям в обыденном смысле слова. С беспощадной резкостью рисует она картины семейной жизни

среднего класса в Австрии. И эта бескомпромиссная критика всего существующего наряду с самым понимающим отношением к нему создает Марриот в высшей степени интересное положение среди современных писателей. Она не принадлежит к защитникам прошлого, с его идеалами благочестия, отрицающего право личности на самостоятельное развитие, но, с другой стороны, не сочувствует и проповедникам индивидуализма — она занимает между ними совершенно самостоятельное место. От первых ее отделяет спокойное, истинно беспристрастное отношение к предмету, от последних — само направление, которое приняло ее творчество. Она никогда не останавливается на исключительных явлениях или особенно выдающихся личностях; ее интересует скорее тайна заурядной человеческой жизни. Вот почему лучшим и наиболее глубоким образом в ее произведениях, который она рисует с особой нежностью, является образ матери — доброй, настоящей матери, которая, как естественный центр семьи, придает ей и святость, и крепость. Смягчается и успокаивается разлад, вызываемый такими противоположными чувствами, как самоутверждение и самоотречение, сливаясь в лице матери в одну любовь. Тем с большей страстностью нападает Марриот на жестокость и тщеславие родителей, которые засоряют этот живительный источник. И вместе с этим Марриот

весьма естественно стала изобразительницей того сословия, которое лишено возможности основать семью и вынуждено влачить жизнь без очага, — католического духовенства. Ее новелла «С тонзурой», и еще более ее роман «Духовная смерть» принадлежащий вообще к лучшим творениям современной литературы, — ее подлинные шедевры. Духовенство обрисовано здесь с полным знанием быта, без какого-либо видимого пристрастия. Дефицит духа семьи — вот, по мнению автора, глубинная сокрытая причина мелочности, жесткости и бездушия, столь часто присущих этому классу людей, но в этой же точке — исток того, что делает их порой по-настоящему возвышенными и в некоторых случаях даже величественными. Потрясающее впечатление производят в «Духовной смерти» та кротость и покорность судьбе, с какими высказывается в этом смысле Гартек, вопреки своему призванию очутившийся в рядах духовенства. Гартек потому и не создан быть священником, что он человек и только человек. Борьба его против церкви не есть борьба скептика с авторитетами в делах веры, или мощный протест выдающейся личности против церковных преград и стеснений; это просто человек, страдающий за свои самые лучшие и простые сердечные потребности, за жажду теплых семейных радостей и обязанностей. В характере Гартека рельефнее всего выступает то, что

в особенности выделяет Марриот между всеми другими писательницами: умение в нескольких пластических штрихах пронзительно подать в обыденном и простом общечеловеческое. Большинство женщин-писательниц, изображая мужчин, впадают в одну характерную ошибку, превращая каждую данную личность в олицетворение одной какой-нибудь необыкновенной стороны, неважно, дурной или хорошей, или открывают такую необыкновенную сторону в отношении своих героев к женщинам. До сих пор во всех женских романах мужчины то неумеренно предавались любви, то оказывались отрешенными аскетами и мечтателями. К счастью, герои Марриота не выходят из-под ее пера в каком-нибудь отношении чересчур *мужчинами*; вообще, в отличие от большинства писательниц, в ее текстах поражает спокойная, как мрамор холодная и неподвижная объективность. Ей в одинаковой степени чужд и ужас, и очарованность, которые высекают в душах большинства незаурядные личности. И взор ее отличается одновременно проницательностью и мягкостью, тою мягкостью, которая вытекает не из подъема чувства, а, наоборот, из переработки всякого чувства и основанных на нем суждений в спокойное, глубокое созерцание. Этому внутреннему характеру ее творений соответствует и форма, в которую она их облекает, — благородная, строгая форма сдержанной мощи, придающей

своеобразную силу каждому выражению. Марриот избегает пользоваться дешевыми эффектами, чтобы подчеркнуть настроение; в особенно сильных местах она обходится без лишних слов и зачастую довольствуется недомолвками. Потому и женские типы у Марриота лишены преувеличенной мягкости и слащавости, и особой ее удачей я считаю бесконечно человечный и чарующий образ Паулы из «DER GEISTLICHE TOD». Не вознося Паулу на какой бы то ни было пьедестал, автор притом убедительно рисует ее как гармонически цельное создание, в котором художественно слиты односторонности и контрасты прочих натур. Так, Паула, питающая склонность к священнику, страстно и самоотверженно стремится к нему, но в то же время, когда это нужно, подавляет свое чувство. Мы видим, как она духовно превосходит все условные рамки женской морали и, невзирая ни на что, идет к Гартеку по первому его зову. Ее любовь побеждает и в нем всякие предрассудки. Наконец, мы видим ее, в молчаливой и нежной преданности готовящей ему его последнюю обитель, среди гор, в бедной деревушке, где ему суждено так скоро умереть. Какой поразительной правдой звучат ее слова, которые она произносит после его смерти: «нет больше утешения и примирении». И все же над трагической любовью Паулы, над ее глубоким страданием парит благодать — благодать семейной

сплоченности — ее неподдельной близости с отцом и сестрами, которая, по ее собственным словам, дает ей почву под ногами и мужество продолжать эту жизнь. Никакая горечь не омрачает этот прекрасный образ, в котором ценно именно то, что он остается истинно женственным.

После этого романа Марриот долго не создавала ничего, равного ему по талантливости. Быть может, так протекал период внутренней борьбы, когда разыгравшийся в ней мировоззренческий разлад лишал ее душевного спокойствия и внутренней сосредоточенности, необходимых для создания чего-нибудь зрелого. Но вот борьба эта окончилась, и Эмиль Марриот, твердая в своих убеждениях, оказалась на каменистой и бесплодной почве церковно-католической традиции. Но и на эту почву Марриот встала так уверенно, что в ней вновь раскрепостился творческий дух, и, не изменяя своему религиозному настроению, она смогла проявить себя как художница с полной свободой в выборе сюжета и формы. Тогда-то она и написала одно из значительнейших своих произведений — «Его божество».

В этом произведении она прибегает к довольно рискованному приему, доступному только ее сильному, чисто мужскому таланту: она избирает для романа форму дневника, в котором рассказ ведет от первого лица мужчина, по всем своим воззрени-

ям и личной жизни представляющий самую резкую противоположность с миросозерцанием автора. Эта смелая попытка блестяще удалась Марриоту, и, читая этот роман, никто бы не мог догадаться, насколько различны на самом деле точки зрения автора и героя. Тем не менее этого героя нельзя лучше охарактеризовать, как сказав о нем, что он во всем и везде ярый враг и антипод Марриота. Материалист, атеист и социал-демократ по убеждениям, он вышел со дна общества и упорным, прилежным трудом становится известным хирургом. Он влюбляется в очень юную девушку-идеалистку и становится ее женихом. Но невеста, испуганная его чувственной, хотя искренней и горячей любовью, оставляет его, а он в припадке неудовлетворенной страсти убивает ее. На каторге он пишет историю своей жизни, и, читая его исповедь, мы не можем не следить с живым интересом и симпатией за этим деятельным и по-своему здоровым характером, и невольно ставим его выше того несколько истерического создания, сопротивление которого довело его до убийства. Тогда как своего героя Марриоту посчастливилось воплотить с замечательной художественной правдивостью, несмотря на все антипатии к нему, парадоксально ей оказалось не под силу сколько-нибудь жизненно изобразить свою героиню столь же живой и невымышленной, хотя она и проникнута к ней такой необыкновен-

ной любовью. Эллен в своей неспособности любить кажется не возвышенной, а просто холодной натурой. Чтобы избегнуть этого, автор должен был бы менее идеально, но более жизненно мотивировать характер своей героини, так, чтобы мы неподдельно ощутили, как разрушал герой иллюзии ее юности, как коробил ее чувствительность своей грубоватостью. Автор мог бы раскрыть в этой трагедии глубочайшую и интимнейшую тайну связи между опьянением и отвращением, увлечением и отчуждением, стянувшей тугим узлом судьбы двух героев. В одном месте, где испуганная Эллен молится в церкви перед ликом святого, пробуждающего в ней воспоминание о ее прошлой любви к священнику, кажется, вот здесь автор и читатель — в полушаге от истинной причины трагического конфликта между влюбленными. Это тайна скольжения двух символических миров мимо друг друга, а вовсе не следствие какой-то абстрактной чистоты Эллен. Но Марриот этого полушага не делает. И здесь выступают два роковых недостатка ее таланта: во-первых, некоторая ограниченность ее миросозерцания, которая мешает ей обнять все то, что волнует современного человека, а во-вторых — отсутствие в самом авторе эмоциональности и вибрирующей чувственности в широком смысле слова, которые необходимы, чтобы утонченными и чуткими нервами улавливать в явлениях их тон-

кие колебания. Короче говоря, в ней недостает лиризма. Если бы Марриот была лиричней, она искупила бы и смягчила свои самые ретроградные взгляды, ибо, благодаря более интимной и колоритной игре нюансов, она давала бы вместо *правды сознательной мысли* другую, более глубокую *правду жизни*. Но этот недостаток — закономерная изнанка ее дарования: ее талант скорее талант ваятеля, чем живописца. Вот почему типы Марриота являются перед нами всегда в таких твердых, резких, законченных очертаниях, что нам трудно проникнуть в изменчивость переливов их душевных состояний. Вообще, нельзя не обратить внимание на то любопытное явление, что в наше время, когда в произведениях мужчин-писателей то и дело преобладает филигранная и чувственная прорисовка настроений, среди женщин так мало лирических талантов. Почти всех их больше интересует изображение характеров, чем настроений, и они лучше владеют рисунком, чем красками.

Впрочем, о соотечественнице Марриота, австрийской писательнице Марии Яничек, живущей уже давно в Берлине, составилось мнение как о лирическом таланте, богатом красочными эффектами. Я не могу согласиться с таким мнением, хотя и допускаю, что ее романы, эскизы и новеллы отличаются насыщенностью палитры. Но я вижу в них не художественную колоритность, а только

эффектный фейерверк слов. Ее излюбленные темы всегда носят до некоторой степени эротический характер, и трактует она их всегда с пылкой страстностью, часто в экзальтированных и высокопарных выражениях. В ее манере мыслить проглядывает любовь к эффекту, к остроумию, лишенному, однако, оригинальности, и при этом видно сознательное подражание ницшеанству или другим новейшим философским направлениям. Несомненно, темперамент играет весьма значительную роль в художественном творчестве, и этим объясняется интерес, вызываемый некоторыми страницами из Марии Яничек. Точно также, благодаря своему темпераменту, автору удается иногда более наглядно и живо изобразить внутреннюю жизнь, чем это может сделать даже более мощный талант, лишенный такого темперамента, или чем это вообще было бы возможно в более осторожную и сдержанную эпоху.

Считая сильно преувеличенными все отзывы о таланте Марии Яничек, за ней все-таки следует признать известные достоинства, в особенности если поставить ее рядом с прославленной австрийской писательницей баронессой Бертой фон Зуттнер. Судя по ее популярности, ей пришлось бы уделить на этих страницах чересчур много места; но на самом деле ее произведения составляют весьма незначительный художественный вклад в современную литературу. Имя ее никогда бы не достигло

такой известности, если бы она не принимала самого живого участия в злобах дня, как, например, в назревшем вопросе о войне. Главным образом ее талант страдает от отсутствия чисто художественного элемента, единственно способного придать серьезным вещам глубину, а безделкам — их изящную прелесть. Свои типы и ситуации Берта фон Зуттнер освещает с одинаково скучной и однообразной, резонерствующей холодностью. Ее воззрения носят печать той банальности, которую охотно смешивают с ясностью изложения. От такой манеры веет чем-то уж очень старомодным. И мы давно уже переросли время, когда художественная литература, не без ущерба для нее, привлекалась к пропаганде временных задач. Самое незначительное явление, освещенное с какой-нибудь новой и своеобразной точки зрения, интересует нас бесконечно больше, чем длинные и скучные эскапады «социально-возбужденных» тем. В особенности женщины-писательницы должны как огня бояться всякой банальности, если только они хотят теперь что-нибудь высказать. В лице баронессы Берты фон Зуттнер Австрия дала весьма полезного и деятельного человека, достигшего громкой известности. Но гораздо важнее, что та же Австрия дала Эмиля Марриота и Осипа Шубина, два таланта, которым Германия вряд ли может противопоставить что-нибудь равное по благородству, грации и силе.

ДРАМА «МОЛОДОЙ ГЕРМАНИИ»

Желание поразмыслить о том, что именно в современной немецкой драме может оказаться интересным для русского зрителя, возникло у меня впервые два года тому назад, когда я увидела на петербургской сцене «Ганнеле» Герхарта Гауптмана. Подобно картинам, повешенным на соответствующем месте и в подходящей раме и которые зритель рассматривает с надлежащего расстояния — географического и культурного, — немецкая драма именно в России, подумалось мне, может найти наиболее спокойную и глубокую оценку, вдали от шумной арены борьбы новейших литературных течений внутри самой Германии. В «Ганнеле» русская публика сразу познакомилась с наиболее высоким и зрелым произведением, какое только до сих пор создавала именно современная драматическая литература, и еще в такой характерной области, как психология детской души и поэтических грез.

Поэтому, намереваясь говорить о новых немецких драмах, я охотнее всего начну с «Ганнеле», подобно тому, как взбираешься на вершину горы, чтобы оттуда лучше обозреть окружающий ландшафт.

Во всех своих драмах Гауптман придерживался одного и того же художественного метода: он постоянно стремился изобразить человеческую жизнь преимущественно в заурядных ее проявлениях, не останавливаясь на исключительных моментах и редких эффектах. Этот художественный прием явился как бы протестом против односторонности прежней, отжившей художественной манеры — новому направлению, без сомнения, удалось одержать уже многочисленные победы. В самом деле, постепенно раскрылись глаза на многое, что до сих пор казалось нам обыденным, незначительным, но что, однако, теперь, со сцены, производит на нас глубокое впечатление. Это победное шествие нового принципа, конечно, далеко еще не завершено; напротив, можно предвидеть момент, когда и сцена с ее средствами, и публика с ее художественными взглядами на людей и вещи достигнут такого развития и усовершенствования, что нежнейшие и неуловимейшие проявления человеческой души обретут недоступное сегодня драматическим средствам красноречие. Но вместе с тем нет сомнения, что тогда для сцены и ее способности развиваться наступит предел. Как только сцена

усвоит все то, что она, по существу своему, способна вместить, она должна будет отвечать новым, совершенно изменившимся требованиям. Уже в «Ганнеле» сильно чувствуется, как, в сущности, для драматурга недалек этот предел возможного и доступного на сцене. Местами лучшие сами по себе сцены пьесы кажутся лишь иллюстрациями ко всему произведению, которое необходимо читать, чтобы им вполне проникнуться. И вот что чрезвычайно интересно: в поэтическом произведении Гауптмана перед нами раскрывается огромное богатство душевных движений, и хотя они все без исключения скрыты в довольно несложном сюжете, но понадобилось живую действительность перенести в область грез и сновидений, чтобы заставить нас пережить все притаившиеся в сюжете оттенки эмоций, иными словами, пришлось прибегнуть к новому художественному приему для проявления внутреннего психологического элемента, для того, чтобы, так сказать, немая душа заговорила.

И в самом деле, с внешней точки зрения сюжет «Ганнеле» крайне несложен и даже беден. Здесь выведена кроткая, печальная, почти бессодержательная жизнь ребенка, умирающего тихо, без слов и жалоб. Только в горячечных видениях девочки развертывается необыкновенное богатство душевных переживаний, переворачивающее все в наших чувствах: на место простого сострадания к ребенку

приходит глубокий интерес ко всем переживаниям нежной, взволнованной детской души. Этот переворот настолько же глубок, как и тот, что происходит на сцене с бедной Ганнеле, когда она после смерти из жалкой «Lumpenprinzeschen» в ободранной юбочке превращается вдруг в настоящую принцессу в белом шелковом платье, с чудесными стеклянными башмачками на ногах.

И здесь Гауптман в полной мере выступает мастером своего знаменитого метода, заставляя нас обращать внимание на мелкие, незаметные черточки человеческой жизни, на которых он, однако, умеет показать, с какой красотой и глубиной они могут быть воспроизведены. И тут форма сновидения является как бы волшебною *лупою*, которая делает доступным нашему глазу то, что без нее осталось бы навсегда незамеченным. И потому сюжет для него — лишь тот ровный фон, на котором лучше всего должна выделиться играющая всеми цветами, беспокойная, мятущаяся жизнь мира грез и сновидений. Убогая постель в ночлежном доме и на ней в нищенской, безобразной обстановке больной ребенок — все это напоминает намеренно грубо выточенную деревянную раму для нежнейшей пастелью написанной картины.

Если бы Гауптман вместо этой маленькой детской души выбрал более развитую и искушенную жизнью душу, то его прием — психология грез — мог бы ос-

ветить лишь весьма незначительный пласт имеющегося у него материала, и перед автором, таким образом, предстала бы альтернатива: либо совершенно оставить нетронутой обширную полосу психологического мира своего героя, тем самым лишив его образ ясных очертаний, или же внести в эти грезы самые запутанные, неуловимые в своей изощренности элементы, что еще в большей мере повредило бы художественной цельности произведения. Именно благодаря простоте и непосредственности детского мира Ганнеле перед нами проходят отчетливые, яркие картины, в которых художественно сливаются в одно целое и грезы, и действительная жизнь. Каждую из этих картин воспринимаем мы сквозь фантазирующую детскую душу, и потому они получают своеобразное двойное освещение — как бы дневное и лунное одновременно, — и в этом кроется одна из тончайших прелестей его произведения: оно оборачивается, мигая, то реальностью, то фантасмагорией. Оно реально постольку, поскольку мы на все происходящее на сцене смотрим лишь как на воспроизведение действительности, пережитой Ганнеле, но играет в фантастическом свете, ибо сама эта действительность представлена нам в сказочных формах, в которые лихорадочный бред больного ребенка непроизвольно облекает все свои заветные стремления и желания. И это таинственное двойное освещение, которое каждому знакомо из собственных сновиде-

ний и грез, сгущает напряженность и интерес — возникает такое полное смысла сцепление всего разрозненного в отдельных сценах, часто создается впечатление, словно в этих грезах разыгралась перед нами действительная драма. Но для наблюдательного зрителя настоящая драма кроется не в сценах, которые проходят перед нами, а где-то позади — в той мотивировке, которую дает им душа Ганнеле. И чем дальше разыгрывается драма, тем все яснее из фантастических сцен проступает духовный образ Ганнеле: стоит лишь вспомнить большую центральную сцену, в которой злой отчим дает перед гробом ложную клятву, чем обрекает себя на муки ада. Она была бы резка и груба, напоминала бы скорее пошлое нравоучение, если бы не имела мотивировки в самой душе бредившего ребенка, — а благодаря этому сцена эта является просто маленьким психологическим шедевром. Безответное, терпеливое дитя удовлетворяет свою детски-наивную жажду мести. Что-то дикое и страшное вспыхивает в маленьком торжествующем сердце Ганнеле, когда ей хотя бы в бреду удается видеть, как ее злой мучитель низвергается в ад, и затем в гробу у нее в руках начинает светиться ключ от рая. Все остальные персонажи постепенно стушевываются, пока, наконец, ночь опять сменяется днем, и в заключение мы снова оказываемся там, где автор хочет нас видеть, — в богадельне, у одра умирающего ребенка.

Так повсюду, где Гауптман остается верным своему основному методу — находить в простом глубину и разносторонность, — он является перед нами волшебником, открывающим все новые и новые сокровища, волшебником, способным глубоко трогать нас.

Разбирая Гауптмана, я хотела бы остановиться еще на одной его драме, которая на этих днях благодаря игре знаменитого итальянского актера Эрмете Заккони, снова воскреснет для берлинской публики. Я говорю об «Одиноких»* (известных в переводе и в России) — драме, которая неподдельно изумляет изяществом формы и нежностью оттенков, из которых так тихо и трепетно произрастает большая, сильная любовь, почти лишенная чувственности. Все что происходит перед нами на сцене, окутано этой любовью, которой мы почти не видим, но чувствуем, как она витает и ложится на все окружающее, точно как в современной живописи краски и контуры часто служат лишь для

* По мнению некоторых биографов, прообразом Анны Марр из «Одиноких» для Гауптмана послужила Лу. Впрочем, сама Саломе утверждала, что «Гауптман не сумел убедительно показать превосходство Анны над своим окружением». Узнав об этом, Гауптман, говорят, пробурчал: «Ну уж, извините: наверное, слишком глуп для Лу». В архиве Гауптмана сохранились некоторые его записки к Лу довольно страстного содержания, что достаточно странно для Гауптмана, имевшего обыкновение уничтожать всю свою личную переписку. — *Прим. пер.*

того, чтоб отчетливее наметить невидимый воздух, окружающий предмет и таким образом придать ему настоящее освещение и живую пластичность. Есть что-то глубоко современное в любви «Одиноких» — тех людей, которые не перестают чувствовать себя одинокими даже тогда, когда они любят, даже когда становятся «удвоенной сущностью». Быть может, в глубоком понимании своей собственной натуры они черпают силу и мужество — не принадлежать всецело друг другу, а лишь посылать один другому из своего одиночества сочувственный привет, чтобы затем снова разлучиться. Ибо они отлично понимают и чувствуют, что всякая любовь, даже самая сильная, горячая и самоотверженная, преобразовывающая всю жизнь, в конце концов, не что иное, как лишь привет — понимающий взмах руки человека человеку, звезды звезде — без надежды на окончательное слияние, без изживания одиночества в себе самом.

Слабые стороны этого произведения лежат отчасти в психологии обоих влюбленных как двух нравственно выдающихся личностей. Гауптман не нашел здесь для своей цели подходящих средств. Насколько поразительно правдивой и жизненной вышла у него молодая жена Иоганна, нравственно ничем особым не выдающаяся, но нежная и ласковая, настолько же слабо и недостаточно рельефно обрисована перед нами душевная жизнь студентки Анны

Марр, в которую влюбляется Иоганн. С особой тщательностью, не упуская ни малейшей характерной черточки, создает Гауптман над Анной ореол крайней эмансипированности и самостоятельности. Но в смысле духовного превосходства все эти преимущества Анны имеют лишь отрицательное значение, и для нас остается непостижимой та более глубокая причина, по которой именно эта девушка способна понимать душевную жизнь одинокого Иоганна и слиться с ним в одно существо. Без сомнения, само звание «цюрихской студентки» — уже известный ярлык для современной молодой девушки; но этого одного еще мало, чтобы получить живое представление об ее индивидуальности.

Еще резче проявляется этот недостаток в самом Иоганне — центральной фигуре всей драмы. Духовное величие его остается для нас в тени. Все, что мы видим в нем, рисует его как человека вспыльчивого, несколько слабовольного, невоздержанного, страдающего от своей нервной организации и мучающего жену всеми капризами неуравновешенных людей. О том, что он человек выдающийся, известный учеными трудами, что он стоит одиноко и непонято со своими душевными устремлениями, — об этом нам рассказывает автор, но мы отнюдь не можем сделать такого вывода из жизни самого героя. В результате совершенно неожиданна для нас двойственная мотивировка его последую-

щего поведения. С одной стороны, не только духовное одиночество, страстные поиски души, которая могла бы его понять в совершенстве, являются логическим мотивом его любви к Анне Марр, но в такой же степени эта любовь зависит от его нервной, шаткой натуры, благодаря которой он постоянно является игрушкой всевозможных настроений. Вместо того чтобы производить впечатление человека сильного в своем одиночестве, он кажется нам, скорее, слабым и безвольным. В результате этого причина и следствие то и дело обмениваются здесь ролями. Психологическая мотивировка, которая, казалось бы, должна объяснить нам весь трагизм одинокой жизни выдающегося человека, на самом деле незаметно все больше и больше уступает место какому-то патологическому фактору. Поэтому вся ситуация начинает казаться нам весьма печальной, но лишенной высокого трагизма. При этом наиболее достойной сожаления оказывается жена Кэти, осужденная жить с таким человеком, да к тому же еще неподдельно любящая его.

И все же эта тонкая психология с ее теплыми, мягкими красками, чисто современное отвращение к прописной морали добра и зла, глубокое сострадание ко всем действующим лицам, и вообще мягкий тон, которым пронизана пьеса, — все это составляет прелесть чисто гауптмановской манеры диалога со зрителем, которую ни с чем не спутаешь.

В «Одиноких» талант Гауптмана далеко шагнул вперед в своем развитии. Но все-таки не свернул с первоначально избранного им пути, и это обстоятельство сослужило большую службу немецкой драме, уже давно ожидавшей того творца, который был бы в состоянии освободить ее от всего искусственного, надуманного. Вокруг Гауптмана группируется кружок людей, которым дороги и понятны его интересы. В нем одном видят они воплощение и осуществление своих надежд на утверждение нового направления в немецкой драматургии.

Среди этих горячих поклонников и продолжателей молодой писатель Макс Гальбе, уже известный по его первой драме «Юность», которая имела такой блестящий успех, какой трудно себе вообразить для дебютанта, и уже вскоре после своего появления праздновала сотый юбилей своей постановки. Полагаем, что этого одного достаточно, чтобы подробнее на ней остановиться: такой колоссальный успех, продолжающийся к тому же так долго, не может считаться случайным, тем более, если принять во внимание, что автор еще так юн. Успех такого произведения весьма типичен для нашей литературной эпохи и для читающей интеллигентной публики, ибо пьеса обязана своим успехом именно публике, а не «толпе». Автор настолько художественно овладел сюжетом, что, несмотря на реализм, даже довольно грубый натурализм изо-

бражения, в пьесе излился в конце концов весь имеющийся у автора запас лиризма, и все произведение проникнуто одним сильным поэтическим настроением. Содержание драмы может быть передано в нескольких словах. Молодой студент заезжает в дом католического священника в Восточной Пруссии. Здесь юноша снова встречается с Анной, подругой своего раннего детства. Оба влюбляются друг в друга, и в одно прекрасное утро он соблазняет ее. Анна — несчастный плод такого же обольщения ее матери — сознается во всем священнику, ее приемному отцу. Последний объясняется по этому поводу со студентом Гансом и решает, что тот теперь должен уехать, чтобы затем вернуться за Анной. Этой в высшей степени сомнительной надеждой на будущее закончилась бы драма, как вдруг слабоумный брат, полукретин, исполненный ревности и гнева против Ганса, стреляет в студента. Анна бросается между ними, пуля вместо Ганса попадает в нее и убивает. Развязку эту, с насильственной смертью от руки третьего лица, очень порицали с технической точки зрения. И в самом деле, с чисто технической стороны можно оспаривать художественную необходимость этой пули. Но, оставляя в стороне технику, я лично нахожу весь образ действий полоумного, и всю его фигуру, как ее вывел Гальбе среди остальных действующих лиц, чрезвычайно правдоподобной и удавшейся. Без

этого идиота, казалось бы, не хватало существенного штриха для цельности почти символического характера всей драмы. Со своей звероподобной улыбкой, с тупоумным выражением, с только что сорванными в огороде весенними редисками, которые он тут же пожирает вместе с прилипшей к ним землей, он, конечно, представляет странный и резкий контраст с первой любовью этих двух юных существ. По своей грубой и низменной натуре кретин напоминает кусок дикой, необработанной почвы, он находится на границе между природой и людьми и воплощает собой человеческую натуру со всеми ее инстинктами, он — слепая разрушительная сила неосознанных влечений. И глубокий смысл скрывается в том, что этот пасынок природы сыграл такую роковую роль, — явился судией и разрушителем счастья любящей пары. Подобно тому как с весной и ее поэзией красота связана лишь внешним образом, но не определяет сущности совершающегося в природе страшного брожения сил, так и в глубине наивной любви Ганса и Анны скрыто нечто такое, что больше напоминает дикого зверя, чем нежный весенний цвет. И в их взаимном притяжении блаженство идет рука об руку с разрушительной силой, самоотречение слито с бессознательной жестокостью, так что люди являются, собственно, игрушкой в руках всемогущей воли, обновленных, творческих и властных при-

родных сил. И эти слепые силы в одном и том же объятии приводят их к высшему расцвету и низвергают в бездну небытия.

Психология обоих влюбленных проста и ясна. Анна — очень молодая женщина, по природе своей предназначенная к ранней и сильной любви. При всех обстоятельствах первому, кто пошел бы ей навстречу, она отдала бы вызревшую в ней готовность к любви и связала бы с ним свою судьбу — безразлично, насколько он отвечал бы ее порыву. Страсть Анны к Гансу по своей внезапности и невоздержанности — весьма здоровая и непосредственная: в любви ранней юности предмет почти всегда случаен, но на него изливается вся возбужденная фантазия. Ничто не заставляет Анну ни бороться, ни отнестись критически к своему поступку, ибо такое отношение является лишь результатом опыта и интеллектуальной зрелости, а робкое раздумье в минуту сильной страсти — всецело результат воспитания. Анна же неопытна, невоспитанна, неумна, и это-то особенно и трогает нас в этой фигуре: с такими случайная первая любовь всегда становится роковой.

При первом пробуждении своего сердца она вся израсходовала себя, она отдается — и затем жизнь делает с ней все, что захочет. Все эти переходы в драме весьма правдоподобны и хорошо изображены, в особенности хорошо отмечено различие

между нею и Гансом. Вначале он представляется в сравнении с ней юношей очень развитым, с широкими устремлениями, и здесь ее подчиненность как женщины совершенно естественна. Но вскоре она встает рядом с ним как более зрелая в своей любви, более опытная. Его же, наоборот, мы видим теперь неуверенным в себе, почти беспомощным, робким мальчиком. Гансу противостоит католический ксендз, который также любит Анну, но как аскет — он убеждает ее уйти в монастырь. Весьма интересно следить за тем, как это узкое миросозерцание ксендза берет верх над миросозерцанием Ганса, поскольку последний, несмотря на свободу своих воззрений и все преимущества интеллектуального развития, не только не в состоянии справиться с собой, но и оказывается на краю пропасти. Ганс представляет собой не только воплощение первой молодости, но вполне определенной современной молодости, представителей которой мы, к удивлению своему, находим во всевозможных слоях. Эти люди по слабости воли до известных пределов отдаются страстному желанию, то есть наперекор всему их существу прислушиваются к голосу своей страсти, но только под условием неизбежно следующих за этим угрызений совести. Их любовь не составляет одну из ступеней той лестницы, взбираясь на которую они надеются стать *людьми*, напротив, в лучшие минуты она кажется им за-

блуждением. Характерно, что герой последней драмы Макса Гальбе —«Мать-Земля» — такого же покроя, как и Ганс; он, так сказать, Ганс, успевший вырасти и возмужать, причем он от этого ничего не выиграл. Мы будем знать содержание всей драмы, если представим себе, что Анна не была убита, но через несколько лет вышла замуж за толстого помещика и что Ганс, покинув ее, женился в столице на другой женщине, привлекшей его умом и энергией и сумевшей своей рассудительностью всерьез привязать к себе. Но затем жена его теряет, когда он, возвратясь на родину, снова встречается с подругой юности. В его первой возлюбленной воплощаются для него воспоминания детства и любовь к родине — то, что он называет «матерью-землей» и куда он уходит от душевных бурь, хотя бы только для того, чтобы вместе со своей возлюбленной покончить счеты с жизнью. Его возвращение на родину психологически совершенно понятно, ибо все его духовные стремления свелись лишь к тому, чтобы уцепиться за юбку женщины, которая пользовалась им как орудием для борьбы за женские права. Можно также допустить, что возлюбленная его могла предстать перед ним в еще более идеальном освещении, хотя ничего идеального она не совершила и лишь из-за денежных расчетов вышла замуж за нелюбимого толстого помещика. Все это вызывает такое заключение, что если эти

люди и сродни людям из «Юности», то все же молодость им куда более к лицу, чем зрелый возраст.

Однако — да простится мне смелость такого обобщения — не является ли обаяние юности спасительным кругом всего этого нового направления, единственной естественной средой немецкого натурализма самого по себе?

Современная драма начала с того, что отбросила совершенность фразы и красноречие, господствовавшее до этого в искусстве, и противопоставила им смелый реализм, назвав это все своим «натурализмом». Само собою, что в этом направлении она не остановилась перед самыми резкими преувеличениями, но тем не менее это была поправка, которая вскоре сама собой уравновесилась и принесла спасение всей драме: она вдохнула в нее и во все сценическое искусство новую, свежую юность. Реализм в его резких преувеличениях постепенно теряет свое значение, и если вначале к нему особенно охотно прибегали для изображения непременно уродливых явлений и самых гротескных из форм, то вскоре одумались и сообразили, что ведь не для этого вызван к жизни реализм, а для того, чтобы вообще провозгласить свободу художественного творчества. Таким образом, настало время драме целиком окунуться в современную жизнь, раскрыть современного человека во всем том, что его мучает, восхищает, удручает и причи-

няет ему страдания; одним словом — человека, испытавшего тысячу новых бурь и пережившего тончайшие духовные эмоции. Но, заметьте, почти ничего из всего этого не отразилось ни в драме, ни на сцене. Без сомнения, реалистический рисунок значительно усовершенствовался в сравнении с устаревшими приемами художественной приукрашенности, но мы не довольствуемся одним только реальным изображением того, как люди говорят, пьют кофе, одеваются или смотрят из окна. Пока нас захватывала сама новизна формы, мы не так живо ощущали отсутствие достойного ее содержания, и на всей драме была разлита красота первой молодости. Теперь же, когда эта красота уже увядает, и мы жаждем увидеть одухотворенным выражение всех черт лица, тронутого печатью опытности. Ведь если лицо — в том числе лицо искусства — не преображается струящейся от каждой морщинки силой духа, в его состарившихся чертах отражается только тривиальность.

AMOR
Романтический набросок

От авторов

Этот набросок, предлагаемый на суд читателей, создавался не совсем обычным способом. В беседе двух литературных знакомых возникла мысль передать в повествовательной форме летучие настроения, сопутствующие некоторым тяжелым жизненным драмам. Один из них тут же стал слагать в небольшую цельную вещь отдельные подробности намеченной темы, которые, казалось, могли быть допущены в непритязательном беллетристическом произведении. Другой передавал на бумаге возникающие черты рассказа. Так написались эти несколько страниц, которые в черновом виде подверглись тщательной обработке.

В одном из отделений спального вагона шла оживленная беседа. Голоса разговаривающих доносились через открытые двери в соседнее отделение, особенно один голос, нервный, слегка хрипящий,

переходивший на верхних нотках в фальцет. В тоскливой духоте вагона слова его звучали страстно и убедительно:

— Меня волнует этот процесс. Я ненавижу газеты с их рекламами и шантажными сообщениями, я никогда не читаю душераздирающих описаний всех этих убийств из-за любви, с финалом на скамье подсудимых. Но в этом процессе есть что-то особенное.

В руке говорившего зашелестела газета.

— Вы, Адриан Петрович, пожалуй, не поймете того, что именно произвело на меня такое впечатление... Эта девушка не выходит у меня из головы. Почти библейский образ! Она омывала ноги своего любовника. А он бил ее по голове.

Адриан Петрович вынул тонкий носовой платок и, медленно развернув его, ударил им по коленям, стряхивая дорожную пыль и пепел. Потом он смял платок в руке, молча и пристально посмотрел на собеседника и ответил мягким приятным баритоном:

— Для меня эта подробность с омовением ног грубому любовнику только противна. В этом есть что-то истерическое. Восторженная любовь, коленопреклоненная — и в результате окровавленный нож. В этом есть что-то невыносимое для нервов. Право, я удивляюсь вашему пафосу, Сергей Дмитриевич. Не нужно никакой особенной морали —

достаточно одной капли эстетического чувства, чтобы понять всю пошлость этой мелодрамы.

Собеседник ответил стремительно, но несколько смущенно:

— Вы не поняли... Меня заинтересовал не финал, не само убийство, а совсем, совсем другое. Ведь настоящая трагедия разыгралась гораздо раньше, тогда, когда эта девушка перестала омывать ноги своему любовнику, когда кончились все эти истерические, как вы выражаетесь, нежности. Нежности-то и спасали любовь от грубости жизни. Любовь — как нежное растение, за которым надо ухаживать, осторожно, бережно... Умерла любовь, наступило отчаяние с его безрассудными жестокостями.

Адриан Петрович пренебрежительно рассмеялся.

— Экая поэтическая душа у вас, Сергей Дмитриевич! — заметил он. — К чему эти цветы красноречия! Любовь всегда одинакова, она живет мгновениями, много-много — часами, загорается, потом потухает. Такова она была от рождения времен, такой она и должна быть — случайной, летучей...

— Нет, вечною! — острым фальцетом вскрикнул Сергей Дмитриевич. — Вечною, до смерти. Но для этого надо жить любовью, не разлучаться, отдаваться ей, служить ей и ничему другому. Ничему и никому, ей одной.

Адриан Петрович соболезнующе вздохнул и сказал с игривой улыбкой:

— Я вижу, мой друг, вы в каком-то сентиментальном настроении!.. Уж не хорошенькая ли блондинка, которая только что проходила по коридору? Хотите знать, кто она? Я был ей однажды представлен. Она вдова, а теперь, говорят, у нее завязалась какая-то любовная история. Кажется, им пришлось на время расстаться...

Поезд выбежал из тесной горной лощины и загремел по высокому железному мосту. Гудение колес заглушило слова собеседников.

Молодая дама, сидевшая в соседнем отделении, у самой двери, напряженно прислушивалась к замирающему разговору. По ее бледному продолговатому лицу, которое казалось измученным, помертвевшим, пробегали живые тени. Облокотившись на мягкую сафьяновую подушку, она с заметным волнением следила за горячим спором, доносившимся из открытых дверей. Одного из собеседников она назвала про себя «романтиком». Его доводы что-то шевелили в ней. Она чувствовала себя одинокой, подхваченной отливающей от берега волной, которая уносила ее вдаль, и она невольно цеплялась за каждое слово, которое соединяло ее с прошедшим. Когда беседа заглохла в шуме и грохоте колес, она откинулась к спинке дивана и закрыла глаза. Пред ней встало неправильное, острое, страдающее лицо того, с кем она

простилась сегодня на станции железной дороги. Он стоял без шапки, и потом, склонившись, припал пересохшими губами к ее руке. Он целовал эту затянутую в перчатку руку безмолвно, долго и, удерживаясь от рыданий, слегка защемил ее губами. Раздался свисток локомотива, вдоль поезда пронеслось хлопанье вагонных дверей. Колеса дрогнули... Ей вспомнилось, что в последнее мгновение, когда он, не отпуская ее руки, пошел за двинувшимся вагоном, она произнесла одно только слово: «Осторожно!» Поезд ускорил ход...

Теперь они неслись по открытой равнине, залитой солнечным зноем. В вагоне было тихо. По коридору то и дело пробегал поездной кельнер, призываемый тонкими электрическими звонками пассажиров, которые требовали освежающих напитков. Из соседнего купе вышел молодой человек среднего роста с бледным безбородым лицом. Она сейчас же подумала, что это «романтик». Проходя обратно, он по ошибке схватился за ручку ее двери, растерянно посмотрел близорукими глазами, вспыхнул и, многократно извинившись, скрылся. Разговор за стеной возобновился, но уже более сдержанно, негромко.

Она продолжала чутко прислушиваться к долетавшим до нее отрывочным словам. Ничего нельзя было разобрать. Она нетерпеливо встала, про-

шлась по купе и, выйдя в коридор, остановилась у окна, прильнув лбом к прохладному стеклу. Ей хотелось еще раз взглянуть на «романтика». Его слова, вырвавшиеся в горячем споре по поводу петербургского судебного процесса, вызвали в ее душе целым рядом неотвязчивых воспоминаний образ только что покинутого человека. И он говорил недавно то же самое. И он говорил, что любовь — чувство нежное, которое боится всякой, даже случайной резкости и дуновения житейского холода. Он не хотел, он боялся разлуки. Он убеждал ее бросить все эти заграничные дела, которые остались нераспутанными после смерти ее мужа. Она взвесила их значение перед судом общественного мнения и с доверием к своему сердцу решилась на время уехать.

Теперь ей было больно, жалко, как если бы она выбросила из гнезда неоперившегося птенца — их новорожденную любовь.

Поезд, тяжело пыхтя локомотивом, подошел к пограничной станции. Публика хлынула на платформу. Молодая женщина сейчас же заметила «романтика» и, узнав его собеседника, пошла к ним навстречу. Они провели некоторое время, сидя за общим столом, в незначительной беседе. Возвращаясь в вагон, она приветливо предложила обоим спутникам провести некоторое время в ее купе.

— Будьте как дома, — сказала она с улыбкой на бледных губах. — Если курите, пожалуйста, не стесняйтесь. Я сама курю.

«Романтик» сел возле нее, по-студенчески заложив ногу на ногу. Адриан Петрович сел у окна напротив. Он провел своей выхоленной рукой с длинными пальцами по густым, низко подстриженным волосам. Это тихое движение руки по темной щетине волос, очевидно, доставляло ему неуловимое удовольствие. Затем он вынул из жилетного кармана небольшую матово-серебряную спичечницу с золотой монограммой, чиркнул спичкой и закурил тонкую сигарету. Казалось, он чего-то ожидает. Он бросил беглый взгляд на своего товарища, приготовляясь к молчаливому участию в его беседе с красивой блондинкой. На нее он как будто не смотрел. Но когда она вынула папироску, он вежливо нагнулся и протянул зажженную спичку.

— Это вы, Сергей Дмитриевич, заинтересовали меня вашею беседою, — сказала она, обращаясь к «романтику» с покровительственной добротой в утомленных глазах. — Ваши мысли казались мне более верными, чем возражения Адриана Петровича, и даже прекрасными. Только в одном пункте я с вами совсем не согласна. Вы отказываете любви в способности выдерживать разлуку. Мне кажется, вы этим оскорбляете любовь.

— О, нет, я боготворю любовь! — с живостью отозвался «романтик». — Но именно потому-то я и говорю: нужно любить любовь, чтобы не потерять ее.

Она ответила не сразу. В душе ее толпилось много возражений, но слова не приходили. Она не могла уловить их. И, кроме того, что-то мешало ей в эту минуту. Она потянула дым из папироски и, выпустив его, невольно подняла глаза на Адриана Петровича. Он все еще как будто не смотрел на нее, занятый игрою собственных мыслей. Солнце клонилось к закату, и красновато-золотистый столб света шел от окна. Вдруг она заметила, что прямо навстречу легким крутящимся кольцам ее папиросного дыма быстро неслось голубоватое облачко, выдыхаемое ее красивым молчаливым спутником. Два дымка сплетались, смешиваясь в солнечной полосе, и вместе улетучивались в открытое окно. Это повторялось всякий раз, как она выпускала тонкую дымную струю своей папиросы.

Несколько смутившись, она сказала:

— Я совсем не философ, Сергей Дмитриевич. Я только что ощутила сильное возражение вам, но оно куда-то улетучилось... Впрочем, это понятно: любовь — как музыка, которая поется сердцем, а не рассудком. О ней трудно рассуждать. Ум молчит, но сердце говорит мне, что вы неправы. Оно говорит мне, что настоящая любовь сильна, смела,

мужественна. Она может все переждать и перетерпеть.

— Какие сильные слова вы употребляете для такого нежного предмета! — заметил «романтик» с грустным упреком в голосе. — Мне кажется, любовь похожа не на бестрепетного героя, а на слабого ребенка, жизнь которого всегда в опасности. За ним надо следить во все глаза, иначе он не вырастет. Вспомните, как изображается Амур: это дитя с мягкими крылышками.

Молодая женщина опять промолчала. В купе сгущались сумерки. Беседа прервалась. Глаза ее невольно следили за тем, как на светлом фоне окна все еще сплетались, сливались и отлетали два играющих дымка. Теперь для нее было несомненно, что дым сигареты посылался ей с тонким расчетом — как раз в тот момент, когда она рассеянно выпускала свои маленькие, расплывающиеся колечки. Что-то странное, тревожное разлилось по ее телу. Она почувствовала, что серые глаза Адриана Петровича остановились на ней и смотрят ей в лицо упорно и откровенно.

Кондуктор вошел в купе, чтобы зажечь фонарь, прикрепленный к потолку. «Романтик» встал и на несколько минут вышел в соседнее отделение. Когда кондуктор удалился, молодая женщина внезапно почувствовала неловкость. Острая боль кольнула ее сердце. Этот чуждый ей человек что-то губил

в ней — дорогое, важное, нарушал священное одиночество ее любовной скорби. И однако у нее не было сил сопротивляться. Она чувствовала раздражение и смятение во всем своем существе. В окно неслось прохладное веяние вечернего воздуха, и она ощутила в теле легкую дрожь. Чтобы прервать томительное бездействие, она встала и потянулась к сетке, в которой лежал ее плед. Адриан Петрович приподнялся помочь ей, и так как на быстром ходу поезда она покачнулась, он поддержал ее свободной рукой, слегка обняв за талию. Она не противилась: рука его казалась тяжелой и вместе с тем приятной. Чуть слышное дуновение пронеслось в ее душе. Она ничего не сказала и опустилась на скамью, выронив поданный ей плед. Он поднял его, развернул, прикрыл ей колени и заботливо расправил на ногах до самых носков.

Когда вернулся Сергей Дмитриевич, в купе стояла тягостная тишина. Он попробовал возбудить разговор, но спутники почти не откликались. Молодая женщина все более уходила в себя. Представления ее теряли форму, расплывались, а над ними брезжил новый тусклый свет. Ей хотелось остаться одной. «Романтик» казался ей теперь наивным, а другой, который незаметно вторгся в ее настроение, становился ей невыносим. Оба заметили ее тревожную молчаливость. Оставалось только вежливо распрощаться до завтрашнего утра и уйти.

Теперь она была одна. Служитель приготовил постель. Она закрыла за ним дверь и, медленно раздевшись, легла. Мысли ее с внезапною силой вернулись к тому, с кем она рассталась и от кого поезд уносил ее все дальше и дальше. Но черты его лица ускользали, теряли свою живую пластичность. В первый раз она со страхом и болью поняла, что время заключает в себе разрушительную силу. Где он теперь? Что он чувствует? Холодная ночная мгла лежала между ними. Курьерский поезд несся с сумасшедшей быстротой. Тяжелые колеса вертелись с гудением и ревом, в котором слышался суровый ритм. Она лежала в полузабытьи, и неизвестно почему прозвучало в ее душе последнее слово, сказанное ему на прощание: «Осторожно»... И с каждым поворотом колес слово это само собою повторялось и как бы сливалось с угрожающим напевом бегущего железного чудовища.

Вдруг ей почудилось, что кто-то ходит по коридору мимо ее двери. Это стало волновать ее. Она раздраженно поднялась, приникла к двери ухом и ясно услышала, что шаги как раз подле ее купе замедляются. Она сейчас же поняла, кто еще раз пытается нарушить глубокую скорбь ее опасного одиночества. Она с отвращением и негодованием упала на постель и зарыдала...

В половине шестого утра поезд остановился у центральной станции Берлина. Молодые люди

бросились к соседнему купе, чтобы предложить новой знакомой помочь вынести вещи, но она была уже в коридоре и, отвернувшись, быстро вышла на платформу. Она еще раз мелькнула перед ними в толпе с мертвенно-бледным лицом.

СОДЕРЖАНИЕ

Человек в ипостаси женщины 5
Мысли о проблемах любви. 26
Эротика 48
Опыт Бога 115
Опыт любви 133
Ницшеана. 151
Опыт дружбы 248
Рилькеада 266
Фрейдиада 317
О недосказанном 331
Современные писательницы 353
Драма «Молодой Германии» 373
Лу Саломе, Аким Волынский. Amor 391

Научно-популярное издание
Librarium

Саломе Лу

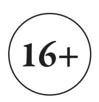
Эротика

Генеральный директор издательства *С. М. Макаренков*

Шеф-редактор *Павел Костюк*
Ведущий редактор *Ирина Паскеева*
Дизайнер обложки *Анастасия Телиус*
Верстальщик *Татьяна Мосолова*
Корректор *Екатерина Ершова*

В оформлении обложки использованы материалы
по лицензии агентства *Shutterstock, Inc*

Подписано в печать 17.09.2021 г.
Формат 80×100/32. Гарнитура «Garamond Premier Pro». Усл. печ. л. 18,68



Адрес электронной почты: info@ripol.ru
Сайт в Интернете: www.ripol.ru

ООО Группа Компаний «РИПОЛ классик»
109147, г. Москва, ул. Большая Андроньевская, д. 23

Отпечатано: АО «Т8 Издательские Технологии»
109548, г. Москва, Волгоградский проспект, дом 42, корпус 5
www.t8print.ru; info@t8print.ru
Тел.: +7 (499) 322-38-30